

Александр ЛИВЕНЦОВ

ЛЕТО НАКАНУНЕ ЗИМЫ

Посюсторонняя повесть

1.

По лицам мамы и отца летели тени. К закату солнце пожелтело, вагон сиял и подрагивал, как при пожаре.

Алёна достала из кармана сложенный вчетверо календарный лист, распрямила на колене – за двое суток тот обтрепался, в сгибах наметились дыры. Алёна решила считать памятным день, когда они уехали из ненавистой деревни – третье марта сорок первого. Новый год обещал перемены уже в январе, когда слегла бабушка. Тайком от неё родители собрали вещи, продали дом – давно хотели уехать в деревню побольше, поближе к центру. Смерть бабушки – долгий сон, в который она уходила на тахте под окном, – все приняли будто окончание зимы.

Отец без конца отлучался в тамбур и возвращался пропахший табаком до костей – у них уже наметилась дорожная дружба с парой таких же, уставших сидеть у окна. Вторые сутки в окнах неслись столбы, и взлетали, и падали дуги проводов. Мама вынула ноги из бот, потёрла одну другой, хотела склониться к плечу отца, но тот умаялся сидеть и снова пошёл в тамбур; как только скрылся, Алёна подалась к маме:

– А что бабушка перед смертью сказала?

Не в первый раз она осаждала маму, и та устало вздохнула.

Дед напротив бил о край скамьи третье уже яйцо и отдавал чистить внучке – она не ела их, только морщилась. Запах яиц за время пути стал таким привычным, будто ими заправляли поезд.

– Веришь, – помолчав, заговорила мама, – она как расцвела напоследок. Я реву, а она улыбается, лопочет, сядет на кровати, тянется встать, еле уложишь... откуль силы? Хотела бы я так уйти. Утром, часа в четыре, глаза ей прикрыла, а за сутки до того она как ожила – вспомнила, что малой с крыши ухнула, отец словил – месил раствор снизу. Дак всё до тютельки вспомнила: как ласточка мелькнула да рыбой жареной пахло, а руки у отца холодные, мокрые с цемента, а у соседей собака лает... И все последние сутки то одно, то другое вернётся ей, каждый чих, каждая пуговка, и всё ярче, ближе. Смеётся в голос, и я улыбаюсь, боюсь, хоть бы кто не увидел. Уж правда, думаю, прибрал бы её господь... взяла греха на душу.

Последнее она сказала тихо, и Алёна вспомнила, что в самом деле мама смеялась со слезами на глазах, когда выходила из комнаты бабушки.

– Как ребёнок радовалась, ей-богу. Одеяло к лицу подтянет, наврode тебя. Лежит, щебечет. А к вечеру вспомнила, как девочкой волка видела – и уж тока о нём до конца.

– Волка?

– На танцы ходили, в клуб, в село соседнее. Ночью назад. Она отстала, луной залюбовалась, глянть на дорогу – стоит, скалится, еле на дерево запрыгнула. Утром рассвело, отец сыскал.

– И что сказала?

– Про запах волчий – острый, кислый запах. Он ей потом мерещился. А волк как вкопанный сидел, не бегал, не выл – ждал, облизывался, ирод. Сто раз повторила, какой язык у него длинный.

Александр Ливенцов родился в 1982 году в Москве. Окончил Университет связи и информатики по специальности программист. Публиковался в журналах «Октябрь», «Новый Берег», «Юность» и др. В «Волге» печаталась проза и критика.

– Что ж за ней не вернулись?

– Люди не святые, – отозвалась мама и прибавила: – Чтоб им ноги отсохли.

– А ещё? – докучала Алёна.

– Она его с дерева кляла в голос – надо так, чтоб страху не казать. Ветку отломала, ежли упадёт – волку в глаз сунуть. И всё твердила, какой красивый – высокий, лапы длинные. Чуть не слопал её, а она любовалась, мягкое у ней сердце было.

– А там есть волки, куда мы едем?

Мама пожала плечами. Она глядела на лес в проблесках солнца, и Алёна поняла, что мама видит не лес, а бабушку на тонкой подушке, с натянутым до головы одеялом. Алёна видела, что докучает, но вызнала про смерть бабушки, не могла насытиться, а уловив в лице мамы усталость, винула себя и с этой тёплой виной в животе садилась ей под бок, обнимала что было сил.

Ещё зачарованная и волком, и луной, мама не заметила, как Алёна припала к ней, охватила горячими ручками. Дерево, у которого сидел волк, рисовалось небольшим, ветка с девочкой – низкой, ночь приправили звёзды да укрыл туман.

Вагон качало, дед напротив клевал носом, сопел, а если переходил на храп, Алёна бралась качать ногой, чтоб тайком ткнуть его под колено.

Вернулся отец, только сел, как на него упала корзина – покорябало щёку. Алёна кинулась выгирать кровь и зло покосилась на деда: тот кряхтел, втискивая свою поклажу назад и подпирая тряпками.

– Утром, без десяти пять, наша станция, – доложил отец, склонился к Алёне и сладко вдохнул от её макушки, точно от куска хлеба после стопки.

– Пусти её, – мама замотала рукой, – табачиной несёт, спасу нету.

Он сунул в рот спичку, уложил ногу на ногу и погода сказал – не маме, не Алёне, а куда-то промеж них:

– Ни сегодня-завтра тепло... пошто тоска, не пойму.

Кровь запеклась на его щеке, Алёна хотела скovyрнуть, но постеснялась, и про дух курева смолчала, а только выпросила у мамы хлебную корку и отсела к окну. Ещё был сахар: два кусочка мама прислала, но Алёна знала, что всё посчитано на неделю вперёд и сверх того ничего не получит.

Желток солнца стекал с облака в облако, просочился меж деревьев, угас. К сумеркам вдоль дороги потянулась деревня, низкие избы росли в беспорядке, облепленные сараями, как бабки внуками. Алёна погрустнела: а если их новая деревня будет такой же унылой? И кто там будут соседи: старики да редкие злые дети? Опять? Чего сразу не переехать в город?

Но вдуматься не успела: у самых путей, обратив к поезду глазницы окон, пылала изба – вились лоскуты огня, небо чернил рваный дым. Вокруг неподвижными кольцами сомкнулись одетые по-зимнему люди, девочка в первом ряду непрерывно крестилась. «Ни за что бы не подошла так близко», – подивилась Алёна. Миг спустя крыша осыпалась, и душа избы взвилась вверх искрами.

2.

Школой была изба на две комнаты – в прошлой деревне и о том не мечтали. Алёна была из лучших, на уроке внимала каждому слову, частенько учительница просила её не смотреть так пристально. А если хвалила Алёну, то мама кивала без радости – дел и дома хватало, проку в этих пятёрках?

Но дома наставало время расспросов – улучив минуту, Алёна терзала маму. Собаки вон плавают и даже коровы, а человека учить надо? И зачем мальчикам то, чего нет у девочек? Да как это – носить дитя под сердцем? Да почему сердце слева? Почему ветер? Почему Бог?! Только мама разговоры зазря не терпела, и Алёна поступала хитрее: сядут чистить орехи – она испугается для виду, будто почерневшие руки уже не отмоются, а мама возьмётся успокаивать, вспомнит, что так же чистила орехи с бабушкой, вот и беседа.

Вечерами, у ворот, Алёна караулила отца, чтоб кинуться навстречу. Он стеснялся этих объятий посреди улицы, всякий раз просил её быть скромнее, а Алёна кричала на хмурые взгляды с чужих лавок: «Добрый вечер!» За ужином вымаливала у отца рассказы о городе, он вспоминал кирпичные высотки в четыре этажа, грохот метро, кино и афиши во всю стену кинотеатра.

Соседские дети шептались, завидев Алёну. Вдвоём с кем-то ещё удавалось потолковать, но стоило явиться третьему, и она выпадала. Совсем разладилось с детьми, когда кто-то надоумил их ловить воробьёв. Алёна поняла – умрёт много птиц и уже не могла вынести, как мама режет курицу.

По воскресеньям ходили в церковь в село по соседству. Односельчане одевались нарядно, шли осанисто, но истинным чудом было то, что взрослые, которые сомневались о всём в своей привычной жизни, дружно верили во всемогущего незримого волшебника. Всё церковное было Алёне в диковинку. На старом месте прихода не было, батюшка умер, и в пару лет церковь обветшала, снегопад промял крышу. Теперь мама подводила её к своей иконе, указывала, где Вера, где Надежда, и непременно шептала в ухо свой имя: «Люба – значит любовь».

Для односельчан Бог обитал в далёком грозном наказании и в запретах, которые несли посты. Отец ходил в церковь по праздникам: одевался в чистое, пах одеколоном, под треск свечей он переглядывался с другими отцами – им было неудобно, словно грешили чаще матерей. В церкви женщины становились сильнее.

Вечерами, управившись с хозяйством, всей семьёй шли в сад, расстилали коврик невдалеке от калитки: мама с отцом садились плечом к плечу, Алёна ложилась им на ноги лицом в небо. Мечталось, что еще годик-другой – и они уедут в город, и Алёна оборачивалась к саду, будто прощалась с ним и уже скучала. Трава стелилась меж замшелых стволов, и, как насечки на металле, сияли нити паутины.

Боялась Алёна лишь почтового ящика – чернея от дождей, тот гнил на воротах забора. Всё чаще доносились обмолвки о приказах и о каком-то «сверху», откуда валяются эти приказы. В маму безнадега впиталась ровным сереньким слоем; в отце, всегда беспечно, от неожиданных новостей страх проскальзывал явно, словно искра меж проводов.

3.

О начале войны узнали из села по соседству – там в сельсовете стояло радио. Вечером в зале колхоза устроили собрание: деревня шлейфом потянулась в село, Алёна с родителями держались в серёдке. Кругом спорили, даже смеялись, мужа подбадривали жён, как дети в простоте утешают матерей, напуганных чем-то взрослым. Алёне с её тягой к расспросам настрою запретили любую болтовню ещё дома, но именно теперь не хотелось идти молча, и мама всю дорогу срывалась на Алёну. Отец молчал со спокойным видом, но легче от того не было.

В середине пути покатила волна ропота. Навстречу, с края дороги, шагал Ефим, рослый костистый старик с ржавой бородкой, лысый, как яблоко. Шёл босиком, ботинки нёс в руке – жарко ему было, на приветствия кивал без слов. Посреди пути встал-таки, оглядел шествие и с немым вопросом развёл руки.

– Война, – донеслось из рядов, точно кто выкашлял это слово.

Плавню, как в воде, руки старика опустились, один ботинок выпал. Опешив от новости, Ефим невольно кивнул и родителям Алёны, и ей самой, чего та не ждала и тарасилась на него во все глаза.

На месте, потребовав тишины, председатель изложил всё, что знал, кратко, ёмко, и Алёна навсегда невзлюбила председателей. Назад шли дальше, многие отстали – тот же шлейф тянулся по дороге, словно дырявый. То мама, то отец с трудом, будто ворочая камни, находили первые слова, но разговор не ладился. Даже у Алёны с её вечной жаждой поговорить настроение скисло. Она жалась то к отцу, то к маме, и они по очереди выпутывались из её горячих рук.

С того дня у злополучного радио дежурили толпы пацанов, ждали быстрой победы. Старшие, кто застал первую мировую – ещё не старики, но высохшие до старости – пророчили долгую

тяжёлую войну. Призывать начали с молодых, но к концу лета уводили тех, кому за сорок, за пятьдесят; семьи получали повестки и дважды, и трижды. Ранним утром, похмелившись, вспомнив ночное застолье, по двое, по трое – чужие отцы и сыновья с походными мешками отбывали на фронт.

Мама с Алёной стыли при мысли, что и час отца грядёт. Почтальон шёл с зарёй. Алёна боялась проверять ящик – мама ходила и возвращалась счастливая, крестясь. Только она не знала, что с вечера дочь непременно обвязывала ящик своим волосом – глупость, но прочих отцов забирали, а свой пока оставался. Смутный, неясный самой Алёне запрет обязал её держать это в тайне. Поужинав, пока родители сидели сомлевшие, она убежала к воротам, срывала у корня волос, охватывала им ящик и вязала узел.

Но в первых числах сентября, не веря слезам и мольбам повременить, мама постригла Алёну к учебному году, и вечером, сколько та ни дёргала с себя волос, ни одним не обхватила ящик, а наутро в нём лежала повестка.

Четыре семьи получили их. Провожали дружно, в родительском доме, хоть их и считали нососёлами – года не прошло с переезда, свежо помнилась изба, пылавшая у путей в окне поезда.

До проводов сделали фотокарточки в районном центре. Все приоделись, и Алёну нарядили в лучшее, до хруста накрахмаленное платье. Мастер – усатый, хромой, похожий на покосившуюся калитку, долго усаживал, ещё дольше колдовал под мантией аппарата и выныривал, чтоб повернуть чью-то голову или напомнить о улыбке. Столько раз, как в эти полчаса, на Алёну ещё не шикали. А всё же день этот даже маму развеял, и Алёна уверилась, что в самом деле было бы странно избежать повестки, когда по стране они валят градом. Горе минет – тут Бог не попустит: отвести пулю ему сподручнее, чем валандаться с этими приказами.

Неделю спустя отец забрал две фотокарточки: одну увозил с собой. «Косая калитка» так и не донёс важность улыбки: чёрно-белые лица были тверды, лишь Алёна с её блаженной улыбкой ожила, как перед распахнутым окном.

На провода от каждой семьи принесли стол и скатерть – белая дорога легла через двор, по которому мама, крестясь, ходила каждое утро до ящика и обратно. Алёна ловила её заплаканную то в комнате, то на кухне; на дворе все бодрились, но с краю стола, отвернувшись, кто-то нет-нет да утирал слёзы. Алёна не верила, что отец сгинет, – Бог уберёт её от страха, значит, и отца сохранит, а у мамы на дружбу с Богом не достаёт времени, потому и боится.

Два деда помнили первую мировую и напутствовали отца, оба налегали на вино, но оно не пьянило. Больше спорили: один под малосольный хруст заверял, что в бой надо идти вымытым, выбритым, и получал от второго ровно обратное – ни в коем случае не мыться, не бриться, ничего чистого. После выясняли насчёт талисмана: первая пуля, хранить которую всю войну, или фотокарточка любимой. Уже захмелев, оба сошлись, что вещи убитого ни в коем случае не носить и места его в строю не занимать.

Солнце тронуло горизонт, остывало; налетел ветер и унялся, точно зная, что не вовремя. В вышине иглы звёзд уже дырявили небо. Алёна вдруг не нашла отца – выскочила на улицу и увидела его с самокруткой, дым летел под крону сливы. Села рядом. Впервые сказать было нечего, а отец смял окурки в консервной банке и вынул из кармана резной гребень:

– Тебе, Алёна. Бери.

Она взяла его с ладони и сразу, не разглядев, спросила:

– А маме?

– И ей. У обеих у вас по такому.

Ободок гребня оплела вязь косичкой, по зубцам легли борозды. Алёна уткнулась в отцовское плечо, зажмурилась. Всегда ей не хватало послушаться отца, наговориться, наобниматься с ним, и всегда он разжимал объятья раньше, чем ей хотелось.

И вот уже он встал, повёл Алёну на двор, обещая быть рядом остаток вечера. А назавтра простился с соседями и выслушал последние наказания возвращаться живым. В тени слив горевали старухи. Колхоз выделил пару лошадей до города, повозку нагрозили вещами, сверху усадили

женщин, которые провожали мужей до вокзала, – маму тоже. Алёна так и не простила, что её оставили дома.

Птицы бессовестно пели, телега таяла на дороге, голоса убывали. Трижды отец обернулся, и Алёна махала обеими руками, будто сиюсь взлететь, после отступила под крону сливы и так сжала гребень, что крайний зубец сломался, впился в ладонь и покраснел от крови.

4.

Колхоз отнимал все силы. Своё пахали ночами – не позволялось косить себе, не заготовив колхозного сена. Назначили проверяющих. За сортовыми семенами ходили в город. Женщины таскали мешки по слякоти, по весенним заморозкам, мама возила на санках. Здоровых лошадей всех забрал фронт. Но лошадь родители, слава богу, не завели – иначе пришлось бы мириться и с этой потерей. Быка, одного на всю улицу, запрягали возить дрова из леса: глупый бык, с норовом, раз затащил воз в овраг – выбрались кое-как, перемёрзли, маму с тех пор разбил кашель.

В лес по одной не ходили, только дружно. Пели, шутили – ценили тех, кто ещё шутил. Алёна убеждалась – худшее на свете от мужчин: воюют, убивают, а дочерям и жёнам камень на грудь. В довершение всего весовщик на приёмном пункте разбил маме губу от того, что лошадь порвала её мешок с зерном. Со злости Алёна лежала в жару двое суток, а на третьи зажгла все свечи, какие были в доме, и стала молить Бога о каре этому мужичку.

Раз в день бегала к сельсовету. Чтоб люди не толпились внутри, радио выставили на подоконник. Динамик ревел, призывая опережать планы и участвовать в военном займе, – особая комиссия ходила по домам разъяснять, что деньги идут на разгром врага. Мама боялась, не знала, как поступить, – немного скопили с отцом. И соседи боялись, кто сберег хоть малость.

Зимой на план сдачи забрали последнее зерно. Алёна горсти не припрятала, корила себя – в голову не пришло, что отнимут всё. Мама слегла, говорила, был бы отец – не позволил бы, а Алёна вспоминала старшего из тех, что опустошали погреб, и не могла представить, чем отец помешал бы. Первый раз видела, чтобы у человека не было шеи – голова сразу росла из плеч, пульки глаз сидели глубоко, а заметнее всего были скулы. Какие тут споры...

Запасы таяли. От несущей курицы кормились семьями, берегли. Картошку ели гнилую, мороженую, серели от голода, как талый лёд, говорили реже и тише, сберегая силы. Алёну с мамой спасала корова, молились на неё, но корма не хватало, уж брали солому с крыши. По вечерам Алёна навевывалась в загон, гладила Липу по длинной шее, делилась тяготами, и в ответ та лизала шершавым языком колени Алёны.

В конце весны к прочим бедам в деревню повадился лис: что ни ночь – пропажа и перья по огороду. Залез и к Алёне с мамой – землю у загона оросила кровь, меж грядок плутали ромбики следов. Только к утру куры угомонились; одна пропала. Неделю спустя ещё одна. С петухом осталось три.

Ялик, цепной пёс, поднял запоздалый лай. Все деревенские псы в свою очередь прозевали вора. Деда уверяли, что это именно лис – слишком умный. Тропы его нашли, но как ни исхитрялись, имели в награду лишь аккуратные пахучие кучки – любил оставить возле ловушки.

Завали из села тамошнего охотника, очень хвалили. Маленькой физиономией и чёрными глазками он и сам походил на хорька; слова глотал, коверкал, отчего его без конца переспрашивали, и Хорёк злился и тараторил ещё невнятнее.

У Алёны только кончилась учёба в школе. Она и мух в жару не била, но взялась за охоту. Что-то от отца слышала, что-то от пацанов под окном сельсовета. Поймать бы лиса первой – посадить в клетку, уж чем-нибудь прокормит. Выслеживая Хорька, Алёна вызнала лисью тропу и ставила силки рядом, надеясь, что зверь угодит в один из них, когда будет обходить главные ловушки.

5.

Солнце в то утро грело честно. Ялик вылакал две миски и, высунув язык, ждал третьей. Алёна покормила кур, прополола грядки. Хотелось скорее поесть и в лес – проверить ловушки. Мама

сварила яйцо, запарила малиновых листьев. Тюль на пороге кухни спасал от мух, через него Алёна увидела тётю Нину – та зашла во двор и крикнула:

– Люб, а Люб! Сегодня у Тони. Нет спасу.

– Лиса?! – мама поднялась над тазом с посудой. – Курицу?

– Утку, – встав у порога, тётя Нина отдышалась. – Тоня так ладно всё справила – шифером обложила, сеточкой. Но то не лиса, то бес. Подкопала, подлюка. С угла земля подмочена была, там и рыла. И собаки проспали.

С яйцом в руке, Алёна на цыпочках приблизилась к тюлю.

– Тоня бегала к Хорьку нашему, явился, обнюхал всё. Он попивает, говорю тебе. Ефим скорее поймал бы. Ефим чёрта достанет, да как не хочется его звать, – тётя Нина плюхнулась на стул и с сомнением прибавила: – Может, сходим к ему, бабами?

– Зовите, я с вами.

Алёна перемялась с ноги на ногу, половицы скрипнули, подлые. Полгода без отца – и всё прохудилось в доме.

– Бедная Тамара. Слышала? – тише продолжила тётя Нина. – Единственного сына... умом тронуться. Всё, никого у ней. Мужа тиф забрал. Хоть топись. Надо за ней доглядывать.

Не помня отчества, Алёна звала её Тамара Тамаровна. Дом её стоял посреди улицы – лавка была из тех, откуда летели хмурые взгляды, куда в ответ Алёна кричала своё «Добрый вечер!». Теперь, если шла мимо, она не видела в почерневшем лице Тамары Тамаровны даже боли – оно утратило все черты.

– Маленька така бумажка, вдвое сложена. Сын ваш у бою за родину, проявив геройство... и в скобочках: убит, запятая, ранен, умер от ран... а под низом приписано, что похоронен в селе, кое там близко. И с этой бумажкой идти просить пенсию. Бабы кажут, Тамара рвала её, пока под руки не взяли. Чтоб тем мужикам повылазило, ироды.

Закаркала ворона, путив в тишине чёрную трещину. Легонько, боясь, как бы пол не скрипнул, Алёна попятилась в глубь кухни, а тётя Нина развязала платок, обтерла шею и справилась у мамы:

– Не пишет твой?

– Два месяца тишина.

– А, Люб... что мы знаем? Перебили рельс – вот и почта. Мужики проклятые.

Залаяла собака, лениво поддержали соседские. Со двора доносился лишь плеск – мама вернулась к посуде, и покряхтев, поёрзав на стуле, тётя Нина напомнила:

– Ефим замок тебе чинил, да? Мне машинку швейную. Еле уговорила. Прежде мой подкручивал, а теперь кому?.. Ничего – наладил. Денег копейки взял.

– Сходим к нему?

Помолчали.

– Так не хочется, – тётя Нина вздохнула.

– Ну не съест же он.

Алёна дожевала яйцо, запила малиной и пошла крадучись через комнаты к другому выходу. Одежда для леса хранилась на улице под навесом с дровами. Переодевшись, Алёна в придачу натёрла полыньёю и себя, и ловушки, чтоб отбить всякий запах.

– Куда? – раздался мамин окрик, когда до калитки в сад осталось полпути.

– Я скоро, – заверила Алёна, не сбавляя хода. – Я всё сделала!

– Там без тебя справятся! Господнее ты наказание!

– Я всё успела!

...Во вторую неделю после переезда в деревню разладился замок на погребке. Отец, как назло, уехал в город. Соседи с замком не справились – побоялись испортить. Помог Ефим, нелюдимый старик с края деревни, кроме прочего славшийся мастеровым, – редко, но выручал односельчан.

Алёна из кожи вон лезла поглазеть на него: двор мела по второму кругу, мыла чистую посуду. Старик закусил губу, как ребёнок, поднёс замок к уху, крутил в скважине какими-то спицами и слушал так внимательно, что Алёне чудилось, будто она тоже слышит. Раз он глянул на неё, как на кошку, понял про её любопытство и поманил пальцем:

– Скажи мамке воды дать.

– Я сама могу, – насупилась Алёна, но вернулась и стакан подала, держа низко, чтобы их руки не коснулись друг друга. Только Ефим указал пальцем, куда поставить, и прибавил:

– Стульчик неси, поменьше.

Самым маленьким стульчиком, по мнению Алёны, была кровать куклы – отец и сделал её из табуретки. Лялю свою Алёна берегла, хоть давно не играла, везла в поезде, запретила выкидывать. Эта кроватка оказалась Ефиму как раз впору. Увидев, на чём он сидит, мама сбежала в дом, чтобы не рассмеяться, и уже оттуда погрозила Алёне.

Пахло от Ефима сухой травой и досками; казалось, так пахнет старость. Лысина блестела до звона – если б дать по ней мухойкой, какой славный шлепок получился бы!

Когда отец вернулся из города, Алёна первым делом поведала о замке. Вечером, с отцом на лавке, она видела, как тот поглядывал на избу старика, голубеющую сквозь марь улицы. Отец хотел бы наведаться к нему, увидеть эти спицы и мастерскую Ефима, потолковать – они бы нашли о чём, но смущали дурные слухи о старике.

Теперь Алёна специально прошла мимо избы Ефима и присмотрелась к окнам – одно подмигнуло бликом, и она прибавила ходу. В лесу, миновав первую прореженную деревенскими топорами просеку, Алёна выбрела на поляну, где зрела ранняя клубника, пошуршала палкой от змей, присела, но улов не задался – деревенские опередили.

Солнце слепило через листву, лес стоял изумрудный и кутался в дымку, точно вблизи его подчистили для хорошего кадра. Вдруг донеслись шаги, и из чащи мелькнула лысина Ефима: он возвращался в деревню, за плечами висел мешок. Алёна подползла на корточках к кустам, молясь, чтоб не приметил. В лесу он смотрелся свежее обычного – будто, входя в деревню, старел. У кустов Ефим замер перевести дух, скинул мешок, и Алёна пригнулась ещё ниже. Минуту старик шурился на кроны деревьев, гладил бороду, а после опустил лицо и потребовал:

– Ну вылазь, вылазь.

С ветки сорвалась птица, и ветка качнулась, роняя листья.

6.

В платке тётя Нина смахивала на матрёшку с довольным пухлым личиком. Знатная сплетница, она ходила по гостям запросто, как если бы всем доводилась роднёй. Как-то, на радость Алёне, тётя Нина подсела к столу, точно дожидаясь, когда накроют, и обмолвилась о Ефиме, а после ещё и ещё – накопело.

К деревенским байкам каждый добавлял свою, но сходились в одном – старик знает с нечистой, и его долгие отлучки в лес лишь добавляли подозрений, хоть травнику и положено бродить по лесам. Изба Ефима стояла у края деревни, огород спускался к саду, вместо забора рос кустарник по пояс с мелкой липкой колючкой.

Со слов тётя Нины, знахари не только лечили и далеко не одними травами – уверяла, что за знания и силу они продают душу чертям. Иные, потомственные, копили навыки поколениями и умели то, что было неведомо новообращённым. Но страху нагоняли и те и те: всё зависело от поголовья нечисти в подчинении. Слабый знахарь распорядился двумя-тремя чертями, сильный, как полководец, – несметным множеством. За обещанную душу слуги исполняли любые прихоти, но так, чтобы эта служба вышла хозяину боком. Вдобавок их войско следовало сдерживать, поскольку оно ежеминутно требовало работы. Толковый знахарь рассеивал горсть золы и наказывал: «Сейте веревку!» С таким заданием черти на время отставали.

– А неграмотный им на гармошке играет, – улыбнулась тётя Нина. Она ещё улыбалась – с приходом войны это разучились делать многие молодые.

Алёна слушала в удовольствие, но сомневалась, что это про Ефима, – шкодливые бесы не вязались с его статью, хоть он и мог то, чего не могли другие.

– Нина, останетесь на обед? – донеслось из кухни.

– Спасибо, Люба, – старушка кивнула в сторону тюля.

Мама давно смекнула: чтоб не болтать с ней, этим можно занять дочь.

– Дак они в ад попадают? – допытывалась Алёна.

– Ото ж, и помирают в муках, – тётя Нина замотала головой, будто самой довелось помереть. – Когда силу преемнику не отдадут – мучатся, ох мучатся. Степаниха слегла – как крутило... уж помирать пора, девяносто поди. Не может – с нечистой зналась. Тужится, стонет. Батюшка с отходной пришел – она без креста, понятно. Свой надел. Степаниха его в рот, в комочек смяла и выплюнь, а ни зуба во рту. Руку тянет, орёт – на, на! Все от той руки к стене жались. Полено сунули – подержалась, силушка вышла, и с концами.

– Страсти какие, – охнула мама, проходя мимо.

– Ты поживи, Люб, не то увидишь. Ага? – и тётя Нина подмигнула Алёне.

Такие байки ходили между детьми. Живо представились и комок крестика, и закутанная в одеяло, стонущая Яга. «Кому ж Ефим отдаст силу, ежели один-одинёшенек? Деревьям?» – рассуждала Алёна. В лесу она и сама любила прислониться то к одному стволу, то к другому, выслушивая своим нутром нутро дерева.

В ответ на мамины сомнения тётя Нина приосанилась, хотела продолжить, но тут и Алёна принялась хихикать.

– Смеёшься, да? А как не смеяться?.. Такого понарасскажут, туши свет. Всё брехня. Кто помнее, говорят, знахарство это – грех, но я думаю – нет. То Ефим ко всем не спиной, дак боком, а как заведено было? Дожди затяжные, засуха – к знахарю идут. И от прочих тока свой спасёт. И нагадает вернее – то ж хлеб его. А приворот?

Перебирая в уме деревенских пацанов, Алёна сомневалась, что какие-то чары влюбили бы её хоть в одного, хоть чуточку. Тётя Нина отобедала, ушла, а Алёна осталась в сомнениях. Теперь и вечерние откровения с Липой, пусть та лишь мычала в ответ, казались чем-то эдаким, уже не говоря о волоске вокруг почтового ящика.

Ефим помогал нехотя, а чаще его и дома не заставляли. Если удавалось подловить, то на девять из десяти просьб старик напутствовал не верить в приметы и избегать продавцов волшебства.

– Брешут, – заверял Ефим.

Пару раз его видели пьяненьким, но тётя Нина считала это самой слабой брехнёй из всех. После отлучек в лес Ефим возвращался такой грязный да вонючий, что за ним подозревали страсть к бутылке. И ходил он обычно злой, точно без опохмела, детей материл, когда шумели.

– Вон, паскуды! – было обычной его просьбой.

Поговаривали, что прежде Ефим лечил в полную силу: кости правил, роды принимал. Или чахнет ребёнок, молчит, ест по чайной ложке – несут к Ефиму, тот голову его помнёт, покачает легонько – дитя оживёт. Сейчас эти дети внуков нянчили, а Ефим наперекор былой славе уверял, что занимался баловством и в лечении знает не больше любой сельской старухи, которые, надо сказать, знали порядочно.

Одну из таких – Марфу, невысокую, простоватую с виду – встречали поклоном. Она слыла потомственной знахаркой, помогала всем, и связи с нечистой в ней не искали; в плату брала что давали и не стеснялась. Марфу чтили, как почитали её мать и бабу, проживших бессовестно долго. Но первым делом шли к Ефиму, знали – он откажет и обидит, если будет не в духе, и всё равно шли к нему.

Единственный род просьб, на которые старик откликался, – это починить что-то по части механики: замок, швейную машинку; Ефима звали настроить пианино, он мог сделать иглолку и прочесть письмо.

Ещё подметили, что он скорее выручал, если просила женщина: розовел, мялся и уже на взводе, чертыхаясь, соглашался. Но именно бабки и матери пугали им детей и наставляли ходить мимо его дома взявшись за пуговицу или с фигой в кармане. Они же уверяли, что продавшему душу знахарю полагается родинка на левой ягодице, а как помрёт, хоронить его надо лицом вниз. И стоило Ефиму отлучиться в лес – дружно соглашались, что лучше б не возвращался.

Наконец, его не видели в церкви даже на праздники – одним этим опытный спорщик мог урезонить любую похвалу в адрес старика.

7.

Тропа петляла по кромке леса. Уже виднелась деревня; редкие трубы дымили, но дым сносило, ветер не унимался. В низине, по оврагу, разбрелись коренастые деревца.

Ефим шёл привычным шагом, а Алёна еле попевала – забегая вперёд, успевала спросить о чём-то и, пока слушала, отставала. Помня о любви старика к технике, она заговорила о силках, но лиса ему была интереснее.

– То лиса. То девочка, а не самец, – уверил Ефим, когда Алёна обмолвилась, что деревенские ловят мальчика. – Это напасть, коли така повадилась. Она и поест, и поиграть хочет.

В пятнах света его рыжая бородка горела янтарём. Алёна ставила ладонь козырьком, шурилась на деревенские крыши и молила, чтоб её не увидели, – только сплетен недоставало. Первым делом она поведала, что хочет не убивать лису, а посадить в клетку, пусть будет её и ничья больше.

– Мышей ей буду ловить, яблоки давать, – на бегу расписывала Алёна. – Они правда яблоки едят?

– Любят, – Ефим пригнулся под веткой и тут же зачеркнул все надежды: – Не дадут её тебе держать. Окстись. Мать первая прирежет или позовёт кого. Зверь же. Удерёт, всё по новой.

– Не удерёт.

– Ну-ну, твоё дело ловить – их бежать.

Ветер мял траву, воробьи неслись к огородам, вспархивая один над другим. Алёна проводила их взглядом и замечталась:

– Потолковать бы с ней.

– С лисой? И что б ты сказала?

– Что убьют. Словят же.

– Не знаю, не знаю.

– Могут не словить? – просияла Алёна.

– А ты, я вижу, рада.

Спрятав лицо, она притихла, но язык сам выболтал:

– Всё зверьё друг дружку понимает, одни мы никого.

– Хошь с лисой поболтать? Я пособлю, – и с тем же одобрением Ефим прибавил: – Тока после она умрёт.

Алёна глянула на старика, на его спокойные глаза и янтарную бороду, и не поняла – шутит или всерьёз.

– Как это?

– Расхотела? – и он сбавил ход, дав сравняться с собой.

– За что ей помирать?

– Устроено так. Тебе худого не буде.

– Я ж маленькая, – напомнила Алёна, угодила в паутину и долго тёрла лоб и уши, сгоняя липкое чувство.

– Тут спустимся, – Ефим вышел из леса и указал на склон холма – крутой, вовсе негодный для спуска, что означало войти в деревню с огородами, со стороны сада. – Скорее буде, – пояснил старик.

«И не увидят. Ведь не сыщут, коли что», – насторожилась Алёна. А Ефим так кряхтел, спускаясь, что она уверилась: «Это для виду. Неделями по лесам ходит, а тут устал, нехристь».

Вялый от жары петушиный крик огласил полдень, повеяло варёным щавелем, кто-то уже накрывал на стол.

– Тебе коли живую, о силках забудь – она принохана к обману, – и, сойдя со склона, Ефим обнадёжил: – Благо не волка ловить.

– Да уж, – запыхалась Алёна.

– С волком не приведи бог, – старик отмахнулся, как от беды, и пока шли через сад под тенью яблонь, припомнил: близ лисьей тропы есть поляна, где прошлым летом буря с корнем вывернула сосну. В лесные прогулки этот корень пугал Алёну, словно вот-вот выберется из земли и поползёт пауком.

– Ежи сесть к ему спиной, – рассудил Ефим, – лиса за ним спрячется. А что ей удобно – и нам впрок.

«Хитрюга», – скребнуло в душе.

Отворив калитку огорода, Ефим пропустил Алёну вперёд. Отсюда до его двора лёг ход в рядах кукурузы, которая скрyla их обоих от чужих глаз.

– Близ корня поджаришь мясо, мышей тех же. Проквась для запаха – я научу. Жарь помаленьку, нагони духу. Отойдешь, сядешь к корню спиной. Лиса наглая, из-под носа стянуть захочет.

Сядет Алёна, к губам прижмёт дудку, какую даст старик, перед собой повесит зеркальце, и как появится лиса – возьмёт нужную ноту, та ляжет на лисье ухо сладко, а за первой нотой и две другие, и так по кругу – томно, ласково. Лису сморит, Алёна кинется к ней – и раньше, чем зверь придёт в себя, стрельнёт из самострела. Ефим и его обещал, и дротик, и чем мазать.

– После вяжи её, в мешок и скорее домой, пока не очнулась, – наставлял старик, заходя во двор. – Увидят, что за спиной мешок пляшет, – не донесёшь.

Алёна встала у умывальника, осмотрелась: двор как двор, со столом и лавкой – только чисто очень, банки на заборе аж слепили намытым блеском. По огороду разбрелись вишни. Под лавкой примостилась канистра – краска на углах облупилась, царапина на царапине. Ефим зачерпнул из ведра ковшом, жадно выпил, а после скрылся в доме и открыл изнутри форточку.

Убедившись, что он не смотрит в окно, Алёна тоже отпила из ковша, причмокивая, – понять, такая же тут вода, как дома, или иная?

Вернулся старик с полными руками. Дудка – короткая, деревянная – звучала на удивление мягко. Сыграв три протяжные ноты, Ефим вручил её Алёне. Та надеялась, что это хоть отдалённо напомнит музыку, но увы. Важнее прочего было добиться плавной смены нот, и старик наставлял, как менять пальцы, пока хватало терпения, но оно скоро кончилось:

– Ты ж смотри, куда показую! – красный, как петушиный гребень, он тыкал в нужную дырку. – Тут жми, посереде этих.

От страха у Алёны невольно сладилось, Ефим утёр лоб и остерёг её:

– Дудка и тебя усыпит, если долго играть. Тошнота подступит, мутить начнёт – значит надо кончать. Уснёшь – не заметишь.

Самострел походил на пистолет: трубка, рукоятка, курок со жгутом. Дротик был аккуратно обструганной веточкой, насаженной на иглу, с боков крепились два пера. К дроту прилагался напёрсток с бесцветной жижей.

– Сюда иглу макнёшь. Грязи не нанеси да не уколись бога ради.

По вишням пролетел ветер, листва нехотя отшумела. Одинокий лист слетел под лавку, Алёна проследила за ним и заметила на канистре коробок спичек – отец всегда встряхивал такой, прежде чем достать спичку и прикурить. Все эти звуки один за другим прозвучали в голове Алёны, и было странно, почему не запахло табаком.

Закончил Ефим на том, как ловить мышей, как проквашивать для запаха и как скрыть эти хлопоты от матери.

– Спасибо, – Алёна потупилась, повесила на плечо отяжелевшую сумку.

– Ну, марш отседова. Расскажешь потом, как сладится, – велел Ефим. Он так устал за эти полчаса, что дрожали и голос, и руки.

Уже протиснувшись сквозь колючки, Алёна догадалась: раз он не велел уйти садом, то и встречу их не желал скрыть, а может, и вовсе напоказ выставил. Ничего Алёна не поняла о нём, только тумана прибавилось, и под эти мысли Ефим крикнул ей со двора:

– Доброй охоты!

Она заозиралась: улицу разморило, ни души из конца в конец, лавки опустели, лишь качнулась занавеска в соседском доме, откуда пахло щавелем, но окно было распахнуто – может, сквозняк.

Домой Алёна шла как из школы. Словно новый учитель рассказал о жизни в далёком краю, поведал, чем полны его дни, не похожие на дни Алёны. Хоть сама затеяла эту охоту, а старик лишь снабдил всем готовым, внутри свербело и думалось, что теперь это всё по его воле. Так и прошла дорога, не распутав чувства, и уже отворяя свою калитку, Алёна вспомнила слова Ефима, словно задела больное место: «Тока после она умрёт».

8.

Тренироваться с дудкой Алёна убегала в сад. Хуже всего давалась смена последней, третьей ноты на первую, из-за чего раскричался Ефим, – дырочки слишком далеко отстояли друг от друга, явно под взрослую руку. Но настал момент, когда рядом с Алёной начали падать птицы. Полежат кверху лапками, встрепенутся, упорхнут. Тогда она наведальась в сарай. Куры расселись по жерди; встав перед ними, как перед залом филармонии, Алёна заиграла, и вскоре они стали валиться на землю.

Наконец, в одну из тренировок Алёна очнулась под деревом с пустой звенящей головой, хотя только что сама выдувала ноту. Мышей к тому времени наловила, держала в ящике за сараем, даже их убивать было тошно – думала, сами помрут без еды, да, видно, долго ждать пришлось бы. Взяв шило, Алёна с час промучилась у ящика – мыши будто поняли всё и носились из угла в угол.

К вечеру, когда аппетиту лисы полагалось проснуться, Алёна надела всё чистое, натёрлась польнюью и отправилась охотиться. Слово это – «охотиться» – гремело в мыслях пустым ведром; пересекая сад, Алёна подбирала ему замену.

Точно лоскутным одеялом огороды укрыли низину. Солнце остыло к закату и осветило одну только яблоню на участке Тамары...

«...Тамаровны, – додумала Алёна. – А сына как звали?»

Но этого уже не вспомнила. Три женщины обступили яблоню: две утирали слёзы, третья обхватила руками голову. На чёрной ветке, на чём-то тонком, невидном Алёне, недвижно, как новогодняя игрушка, висела Тамара Тамаровна. Один тапочек слетел, второй чуть не касался земли, на груди поблёскивало, и Алёна невольно взялась за крестик. Вдали, за лесом, золотилась полоса вечерней реки. Пахло акацией. Ветка прогнулась... тапочки... крестик... как игрушка на новогодней ёлке... Меж грядок к яблоне подходили соседи и вставали поодаль, словно вблизи костра, от которого пышет жаром.

На поляне Алёна утёрла запоздалые слёзы. Дождь намыл под корнем ходов – Алёна завалила их ветками, оставив лисе один центральный. Проквашенные мыши воняли до рвоты. Связав их проволокой, Алёна час тушила «лакомство» на тихом огне, после оставила слипшийся ком мяса у костра, села к нему спиной, смазала иглу дротика и зарядила самострел; прижала к дрожащим губам дудку. Мамино зеркало висело на палке, отражая корень, а перед глазами так и стояла яблоня с длинной провисшей веткой... блестел крестик.

Лиса явилась к сумеркам.

Зеркало чернело – ничего в нём было не разобрать. Треск сверчков качался волнами. Ныла спина, ныли ноги, тело в неподвижности затекло и болело. Алёна уже кляла Ефима теми словами,

какие запрещали говорить вслух, и тут в зеркале заиграло рыжее пятно. Лиса долго сновала меж корней, наконец показалась, вперилась в спину Алёны, не удостоив мышей вниманием.

Первая нога далась на удивление хорошо, всплыла из неоткуда. Лиса уже целиком вылезла из норы под корнем и двинулась к мышам. Но звук окреп, три ноты отыграли, вернулись к первой, и зверя как подменили: лиса выпрямилась, безвольно открыла пасть и словно на глазах потолстела.

Помариновав её так с минуту, Алёна плавно, на первой ноте, сбавила звук, положила руку на самострел, обернулась и... увидела лисий зад – шатко, кося вбок, точно пьяная, рыжая спешила к норе. Но Алёна сиганула на корень и уже метила в тот единственный лаз. Лиса получила свой дротик, как только выскочила наружу.

Это и вправду оказалась лиса, а не лис. Вынув дротик, Алёна секунду смотрела, как по игле сползает капля крови, после связала свой трофей, запихнула в мешок и поспешила домой. С неба на землю уже смотрела лиса.

Часом позже Алёна пересекла огород. Мешок забрыкался, заскакал на плече, но деревня спала. Напуганная отлучкой дочери, мама сходу вlepила Алёне оплеуху и принялась ругать. Голос ее осип, под глазами легли тени, обида Алёны угадала, не разгоревшись. Увидев мешок, мама сперва не поверила, после хотела топить лису, но сжалилась, отсрочила казнь:

– Всё равно до обеда не доживёт! Люди не дадут! А смолчим – худо будет. Знаешь, что случилось?! Тамара-то...

Клетку Алёна заготовила, сама опустила в неё лису, мама надела рукавицы и развязывала верёвки, причитая, что кормить её не станет. Рыжая покрутилась меж стенок, заскулила – голос её походил разом на собачий вой и скрип двери. Ялик поднял лай, цепь гремела не смолкая. Алёна загнала пса в будку, но тот вился на месте, фыркал, не понимая, чем провинился.

Назавтра только мёртвые не пришли поглазеть на лису. Впрочем, больше разглядывали Алёну, будто прежде вместо неё тут жила другая девочка. В мужичках томился немой вопрос, пацаны завидовали, лишь старики и немногие женщины согрели её похвалой. О помощи Ефима смолчала. Позже всех пришёл нанятый Хорёк, посидел у клетки, небрежно усомнился, что для следов на огородах лиса маловата да поймана далеко от тропы, да в придачу самка.

В чём не сомневались – что нужно прирезать скорее и крепче прожарить. Алёну корили за слёзы: такая взрослая, а не понимает. Тамару вспомнили, суток не прошло. Как можно о лисе плакать?.. Нервы у мамы сдали, ходила меж всех сама не своя, искала слова – и всё не те. Сошлись, что день-другой обождут новых краж, но вера в расправу только крепла: пропадут куры или нет – рыжей не жить.

Всякую минуту Алёна сбегала от домашних забот к клетке: поила лису, несла яблоки, глядела на неё – не могла наглядеться. Ни с кем не шепталась так искренне, даже с Липой. Лису же и эти беседы, и сам голос маленького человека – всё пугало, лишь несмолкаемый лай Ялика оставлял равнодушной.

Детей Алёна пускала к клетке ненадолго, как медсестра в палату к тяжело больному. Дети печалились о судьбе лисы, лишь взрослые пацаны напоминали, что прожарить её надо как следует. Половина из них явились из села. Самый юный, Витька, жил в соседнем дворе, уже ходил в школу, но от него больше шуму было, чем толку. Чёрный деревянный пистолет, который он не выпускал, казался продолжением руки, а дуло – пальцем Витьки.

Сперва дети говорили о лисе, но скоро в беседу вторглась война. Оказалось, наши войска шли в подмогу Ленинграду, но потопли в болотах и потому не добрались к сроку.

– ...немцы врезали, ждали поди. Наши шли блокаду сымать, а полегли там, – сказал самый высокий, самый взрослый парень.

Витька сжал пистолет и почесал им живот. Оставшись без внимания, лиса заняла дальний угол, вой притих. Парень, что говорил, сел на корточки и продолжил:

– Лёнчик скажет, что как, полгода по окопам. То срок, то такой срок. Другой Лёнчик вернётся.

– В девяточку клал, – напомнил сосед.

– Ещё положит. Пуля пожалела, може, жизнь спасла – так домой и с почётом, а то лови другую.

Лёнчик был немногим старше остальных, но попал под призыв. Когда собирались гонять мяч, все хотели его в свою команду – шустрого добряка. Увели Лёнчика в декабре, в канун праздников, а к концу весны телеграмма – ранение, госпиталь, ждите на поправку. Уже заждались.

– Батя твой пишет? – спросил Алёну всё тот же парень. Она покачала головой, шепнула о двух месяцах тишины и вспомнила последнее отцовское письмо, в котором он рассказывал о шоколаде – что-то вкусное неопишимо, чем порой с солдатами делились офицеры.

Не найдя себя в разговоре, Витька нагнулся к клетке, прицелился через прутья в лису, и Алёна подумала, что если бы его пистолет стрелял такими же чёрными деревянными пулями, они уже сидели бы и в лисе, и в самой Алёне.

Когда минула неделя и кражи кур прекратились, самые рьяные односельчанки пришли к маме и потребовали к вечеру нового дня лисий труп. Все эту неделю Алёна вынашивала холодок страшной мысли и теперь смирилась: «Так и так пропадать рыжей – хоть объяснимся». Чужа неладное, украдкой в час полевых работ она отправилась к Ефиму.

9.

Пока Алёна шла, у неё скребло на душе, стыдно было, что не явилась рассказать о охоте, хотя старик просил; даже дудку с самострелом не занесла, каждый день откладывала. Мог осерчать. Ефим возился в огороде, но, завидев Алёну, пошёл навстречу, она же встала у кустов и не смела идти дальше. Взяв из её рук, всё, что вернула, он указал на лавку.

– Наверде сладилось? – то ли спросил, то ли поздравил Ефим, примостился рядом и выдал: – Пойдёшь ко мне в ученицы? – но спохватился, понес дудку с самострелом в дом, а как вернулся, лишь похвалил: – Хорошо, что про меня молчала, то лишнее.

Деревню разморил зной. Мухи лезли в лицо, казалось, не летают, а плавают.

– Я вот, смотри, удумал, чтоб с картошкой не маяться – и старик заулыбался.

Показал коробку: снаружи ручка, внутри стержень с десятком лезвий. Ефим достал пару картошек, почистил наскоро, опустил в коробку и стал крутить ручку. Внутри коробки грохотало, но вскоре звук утих, рассыпался. Старик открыл её: все лезвия, отломанные, сидели поровну в обеих картофелинах. Алёна покраснела и вжала голову в плечи со словами:

– Годная вещь.

Вглубь коробки он смотрел с недоверием, обиды на лице Ефима Алёна так и не увидела и, пока рассказывала о охоте, он слушал молча.

– Я говорил – не дадут её держать, да в такое время... ни. А сбежит – уже с вас спросят.

– Так можно потолковать с ней? – Алёна совсем оробела. – И после она умрёт?

Ей думалось, Ефим, если не отговаривать станет, так хоть спросит – готова ли? Он же с ходу взялся наставлять:

– Есть отвар, прежде чем выпить, надо день молчать и голоса людского не слышать, чтоб голова отвыкла, не то зазря погубишь. Да глотай первая – каплю, не боле, после – лисе. Спутаешь – приду на твои поминки. Помрёт тот, кто глотает вторым, кому под первого подлаживаться.

Алёна сжала губы.

– Пузо поболит потом – то ничего, пройдёт, – заверил Ефим и скрылся в доме.

Оставшись одна, она огляделась. Теперь всё, куда ни падал взгляд, виделось иным: стол на трёх ногах вместо четырёх, умывальник большущий, а полотенце белоснежное, и сколько банок висело на жердях – Алёна и не видела зараз столько.

Ефим вернулся, поставил на лавку крошечную склянку – внутри качнулось желтоватое масло.

– Я отмерил. Каплю тебе, остальное ей.

– Как же ей в пасть-то? – забеспокоилась Алёна.

– Оно по-ихнему вкусно пахнет, вылакает, еще попросит.

– Сегодня до вечера я успею?

Солнце взбиралось по высокому летнему небу.

– А что нет, – благословил Ефим, встал, свет блеснул на его лысине и сполз в бороду. – Шибко не беги – на душе и в теле тихо должно быть. Представь, что промеж их нитка, а посереде её колокольчик – как он смолкнет, открывай склянку.

Улица лежала пустая, вдали серыми точками слонялись без дела дети. В голове не укладывалось, что кто-то может сейчас скучать. Вблизи двора Алёна услышала лай Ялика – третьи сутки сходил с ума. Мама была в поле. Зная, что влетит, Алёна сочинила записку: пообещала вернуться с мёртвой лисой, взяла клетку и под скрипучие лисьи жалобы через огород, через сад поспешила в лес.

Местом Алёна выбрала поворот реки. Деревенские добирались сюда с корзинами ловить пещарей, но не купались из-за крутого спуска. Алёна осталась в лесу на крошечной поляне, которая всегда манила одной странностью: с краев поляны, из старых сосен, друг в друга смотрели два дупла.

Опустив клетку, Алёна села напротив, увидела лисий взгляд, отвернулась. Ведь остерёг Ефим – не дадут держать рыжую, в тот первый раз остерёг – сама себя обрекла, никто не звал в палачи. И вспомнилась то ли шутка его, то ли... Алёна терялась, как понимать предложение идти в ученицы. Не казалось ей, что, как все старики, Ефим хочет иметь подле себя хоть кого-то, лишь бы не быть одному.

Любуясь на свету жёлтым ядом в склянке, Алёна гадала из чего он сделан: «Лисам нравится, сама вылакает... Из кур, что ли?»

Полдня съела тоска. Глупые птицы распелись, не ведая о скорой беде, солнце чахло в дымке. Только лиса скулила, чуя погибель, да голоса в голове не унимались: и собственный, и мамин с папиным, и соседские. Алёна боялась – не повредят ли они обряду наравне с обычными людскими голосами, о чём предупреждал Ефим? Колокольчик на нити меж душой и телом трезвонил, не умолкая – удумал же старый. Щебет, шум ветра и даже ломкий лисий вой отвлекали, но слабо, то были тихие голоса. И тогда Алёна стала колоть ножом в ладонь, стоило чуть задуматься; боль прожигала руку и пока тлела, Алёна не думала ни о чём, держалась за неё как за спасение.

К закату колокольчик наконец стих, мысли размякли, и даже для лисы не осталось слов, кроме «прости, рыжая». Уже без всякого волшебства Алёна слышала в её ломком плаче: «Отпусти – не буду красть ваших кур».

Когда чащу заволок синеватый сумрак, Алёна приказала сердцу молчать, макнула палец в зелье и опустила на язык горькую каплю – вкус раскрылся терпкий, пряный, но распробовать его Алёна постыдилась и скорее сунула склянку меж прутьев. Рыжая боязливо обнюхала угощение и тут же вылизала склянку дочиста.

Внизу по берегам наплыл туман. Ветер клал на реку прохладную рябь, и Алёне подумалось, что Бог готовится отхлебнуть, когда вдруг она уловила вблизи себя смутное тепло – живое, беспокойное: то был лисий ум. И рыжую озарило, с тревогой взглянула на Алёну, но следом узнала, что умрёт, узнала от чего, и передался её страх, словно вода потекла из сосуда в сосуд.

Извинения лиса слушала молча. На домыслы, в которых она якобы обещала не красть кур, в мыслях Алёны возник беззвучный ответ: «Воровала бы до последнего». Затем рыжая уложила морду на лапы, уставилась в гаснущее небо и так же неслышно поведала, что копать у загона с птицей надо с подмоченного угла: и легче, и шуму меньше.

Умерла как заснула – только уши разъехались. Алёна встала, принялась ходить, обхватив голову, только бы заслониться от этой тишины. Звёзды роились, мерцали и будто слышались их писклявые голоса. Лес почернел, куда ни глянь, везде, словно в этих двух дуплах, повисла темень. Лишь ветер гулял по реке, радуясь самому себе.

Наконец Алёна прислонилась к дереву и, сдерживая тошноту, вспомнила, что лисий труп ждут в деревне. Подняла клетку, тельце лисы сползло к дальней стенке. Всю обратную дорогу, как обещал Ефим, ныл живот – тупая боль обжилась в нём и спасала Алёну, давала отвлечься.

А дома ждали трёпка и крик: маму трясло, она сорвала голос, сипела и назавтра слегла с сердцем. Деревенские приходили смотреть на лису, а после заходили к маме, желали здоровья.

10.

Теперь Алёна жалела, что в прошлую встречу Ефим не просил зайти, поведать о исходе дела – хоть словом хотелось обмолвиться о случившемся. Решила сходить, занести склянку – старую, мелкую, явно не редкость в его доме. Спустия день, как все налюбовались лисьим трупом, лил дождь. Утих к вечеру – деревенские сидели по домам, а Алёна месила грязь по пути к избе Ефима.

Знала бы мама, кто увидел в Алёне свою ученицу. Не примет она, не поймёт. Вдобавок ей всё чаще нездоровилось: кашель всю зиму, теперь – сердце. «И пошто Ефиму ученица? Неужто права тётя Нина – силу до смерти отдать да сбавить муки?» – Алёна представляла полено в руках беззубой умирающей ведьмы. Дерево чернело, корёжилось, смятый в комок крестик катился по полу.

С того раза, как Ефим похвалил за охоту, Алёна ждала его одобрения. Легко и ясно он излагал мысли – всё до мелочи понимала, хоть и боялась его гнева. Отец объяснял хуже, прыгал с одного на другое, матерился, если не доходило, мог вовсе уйти, хлопнуть дверью. Оба они были вспыльчивы: отец наружу, громко, как холостой заряд, Ефим – внутрь, лишь искры летели.

Уже под конец пути, завидев опоясанную кустами избу и кроны вишен, Алёна смутилась – зачем сравнивает отца с Ефимом?

Старик сидел на крыльце, стругал колышек, но увидел Алёну и отложил. Закинув ногу на ногу, он подождал, пока она войдёт на двор и смерил Алёну взглядом:

– Никак склянку принесла?

Вдали ухнул гром, дождь скрылся за лесом, а солнце так и не растопило плена мокрых туч. Вишни поблёскивали, грядки разбухли и почернели. Тут и там по огороду стояли посудины с воронками. Старик проследил за взглядом Алёны и пояснил:

– Хороша водица, колодезная против неё – дрянь.

Алёна только присела, как Ефим, устал кутаться в овчину, встал и позвал в дом:

– Идём. Больно сыро.

В избе её поразил шкаф во всю стену: на верхних полках корчились обрубленные корни, свисала бахрома трав, средние полки укрылись за створками, на нижних лежали инструменты. В шкафу темнел проём, обрамлённый чёрной рамой, как на фотокарточках с покойниками. У стены с окнами была мастерская: стол, изувеченный царапинами, сплошь в застарелых пятнах, точно переболел всем на свете; остатки работы разбрелись по нему гвоздями и стружками.

Ефим прихватил с кухни плетёную миску и указал Алёне на этот стол. В миске лежали ломти хлеба. Лето только началось, пшеницу сеяли месяц назад, первых сборов ждать в августе – стало быть, он сберёт зерно прошлого года – это с его-то махоньким огородом! В деревне уже забыли вкус хлеба.

– Бери, – двинул миску к Алёне.

Хлеб, пусть и чёрствый, казался невозможно вкусным, особенно корочка. Алёна как могла тянула удовольствие, но ломоть кончился быстро, словно не было.

– Ещё бери, – велел Ефим и сам взял. – Потолковала с лисой?

На её кивок старик отложил ломоть, не успев откусить. В бороде повисли крошки, во взгляде сомнение.

– Что ж тут? Вы ж отвар дали, – изумилась Алёна.

Нехорошая догадка сковала её: может, в склянку он налил простого ароматного масла, а волшебства и не было? Ведь только в голове своей она и слышала лису – умом, а не ушами.

– Не у каждого ладится, пусть с отваром. Чуть сдуришь – всё насмарку. Сама уже знаешь.

– Она сказала... – выдавила Алёна, хоть думала, слова польются рекой.

– Не-не, то ваше, – остановил Ефим.

Со двора доносилась капель, жук ворчал в углу потолка, наворачивая круги. Пауза затянулась, и вспомнилось, как тётя Нина поведала, что каждому знахарю положена родинка на левой ягодице. Старая не засмеяться, Алёна ляпнула:

– Говорят, вы лечили прежде.

– Возьмусь лечить – очередь выстроится, – откликнулся Ефим. Встал сердитый, с трудом усадил себя. – Полечил уже. Есть заботы первее.

Со смертью лисы душа наполнилась тихим страхом перед этими «заботами». Алёна поёжилась, сунула руки под мышки.

– А сколько калек буде... Они ж все воротятся калеками, кто не сгинет. На век боли хватит. Лечить... поди вылечи.

Старик махнул обеими руками, опустил голову, в лысине отразился оконный свет. Издали, со стороны дома, пропел петух – то солнце прожгло тучу и вытекло на горизонт. Алёна повернулась к окну, снова увидела на грядках посуду с воронками, выросшими как грибы после дождя. Потянуло домой.

Потерев колени, Ефим поднялся, и сам кивнул на окно:

– Последнее солнце. Идём на лавку.

Вдоль порога натекла лужа серого неба. Ветер тряхнул вишни, с листы осыпалась стеклянная крошка; зашумела кукуруза, точно потирая бока от холода. Алёна запахла кофту, подышала на руки и решила не мешкать, минуту побыть тут – и домой, а что старик даже в шутку не позвал в ученицы – и слава богу.

– Да вы не травник?

– Это как? – просиял Ефим.

Алёну уже злило, что должна отвечать вместо него.

– Умеете, чего другие не могут.

– Умею, – согласился старик самым приятным своим голосом и выставил ногу в добротном ботинке. – Обувку вот.

Алёна вообразила такие же ботики втрое меньше на своей ноге – чистенькие, остренькие – отмахнулась от соблазна и настояла:

– А ещё?

– Могу не думать, и крепко, как никто тут, – подмигнул Ефим. В бороде его так и висели крошки, он о том не ведал и довольно улыбался.

– И ни один чёрт вам не служит?

– А они умеют служить?

– И влюбить-разлюбить можете?

– То к Марфе.

– А чего она вас боится? – приврала Алёна и закусила губу.

Ефим полюбовался на ее красные уши и покачал головой:

– Баба-яга. Без дела она не буде... Что, судачат, как схоронят меня вниз лицом? Да ты сама детей не любишь и со мной водишься. О боге поди думаешь, сомнение у тебя в голове, вопрос на вопросе.

– Неправда! – выпалила Алёна. – Нема у меня такого.

– Есть. Всё, что треба, у тебя там есть.

– Для чего?

– Вверх копать, – старик поднял палец.

Алёна растерялась, но слова, смутные, как туман, укрывший деревню, всё же были ясны.

– Глаза уводишь, – попрекнул Ефим. – Тебе боле негде о том сказать, как тут. Ты хочешь, чего другие в голове уложить не могут. Стыдно не хотеть. Стыдно пожить зазря – и в землю. Потому и охота заладилась: знала, на что шла. Я стольким пособлял – постарше, половчее. И с отваром никто не сладил – уж сам зверя ловил, готового давал – в лес уйдут, день человека не слышат, а в

голове-то думки, балаболят там – всё насмарку. Специально о том молчал. Не ведают, что творят. Ни ума, ни сердца.

Старик прошёлся туда-сюда, доски под ним устало скрипели. От духоты и волнений спина у Алёны вымокла, одежда липла к плечам, хотелось вытереться насухо и одеться в чистое.

– Читать можешь? – спросил Ефим.

– Могу. А вы в бога верите? – осмелела Алёна.

– Не хотят люди знать! Не хотят. Картошка в огороде, бог в церкви. Так, да?

– Мама с папой всё бы поняли, да нет времени по лесам ходить!

– Нема у нас ничего, окромя времени! Дом сгорит, и нема дома. Что нажил – отберут. Жена – помрёт, сбежит, наскучит. Дети вырастут. Руки, ноги твои, голова да брюхо – болят, когда не надо. Одно время у человека есть, ничего боле.

Опять Ефим заходил из стороны в сторону, как цепной пес. Угол крыши ронял капли, одна капля – одна секунда, и с вишен падали секунды, и с кончика умывальника, а старик нахаживал и тёр бороду.

– Мне бы домой, – Алёна поднялась, и он тотчас очнулся.

– Пойдёшь в ученицы? Сядь, чего вскочила.

Села нехотя, задела ногой канистру, так что упал коробок спичек; пахло керосином.

– Я вам нужна, чтоб в смерти не мучиться?

Ефим поморщился:

– Судачат, да? Мыши серые. Бабки расскажут, как ведьмы крестики во рту мнут. Сама-то ве-
ришь?

Она опустила глаза, провела пальцем по краю канистры. Лужа вдоль крыльца поголубела на-
последок, и почему-то только сейчас одно «но» перечеркнуло все «за» и «против»:

– Мне мама не позволит.

Ефим сплёл руки на груди, ловил взглядом клочок чистого неба, и не сразу спросил:

– Отец пишет с фронта?

– Два месяца ни письма. Три уже.

Ветер сорвал капли с крыши, спугнул воробья с ветки вишни. Алёна достала из волос гребень, повертела и спрятала меж ладоней, чтоб старик не видел. Когда подняла глаза, солнце село, над горизонтом повис жёлтый дым.

11.

С того заката на лавке Ефима минуло три месяца. Лето кончалось, деревню затопила жара – последняя и такая злая, что улица кипела в мареве и оживала лишь к вечеру.

На исходе августа пришли вести с фронта. Маму отпустили с поля, чтобы успела в село на по-
чту. Соседка предупредила Алёну, но побоялась обнадёжить письмом отца – велела ждать. Алёна
слонялась вдоль забора, гадала и даже не пыталась занять себя чем-то.

От блужданий её отвлек Лёнчик. Тот, которого так не хватало пацанам, скучающим по краси-
вым голам в девятку. Медленно, насколько позволяли одна нога и костыли, он пересёк дорогу в
сторону Алёны. Весть о ранении в деревню дошла, но что Лёнчику отхватили правую по колено,
узнали, уже увидев его на костылях. В полевом госпитале солдаты чуть не лежали друг на друге:
врач-студент, два санитары, из всей аптечки – камфора, йод да эфир для наркоза. Лёнчик схлоп-
тал пулю в голень – считай, повезло, подлечивали, на поправку шёл, бодрился, так на гангрену и
вышел.

– Мамка на почте? – он приковывался к лавке, повесил костыли на сук сливы и плюхнулся возле
Алёны.

– Да.

– Не болит, – буркнул Лёнчик. Как и все, она первым делом устала на его ногу, которая
кончалась у колена узлом штанины. Почесав за шеей, Лёнчик сплёл руки на груди и сказал задум-
чиво: – А офицеру нашему по жопу оттяпали, считай полчеловека.

Через силу Алёна отвела взгляд от узла на штанине.

– У немца авиация крепкая, покروшили нас на юге. Мы растянулись шибко, они и налетели своими шмитами, – сам с собой толковал Лёнчик. – Боле всего пехота авиацию не любит. Ох, не приведи бог.

Костыли белели совсем свежие, дерево не успело потемнеть, перекладины не обтёрлись.

– Про указ слышала? – безучастно бормотал Лёнчик. – Ни шагу назад, двести двадцать седьмой. Заградотряды за войсками ставят, чтоб воевалось охотнее.

Его серенькие пузыристые плевки окружили косточку сливы – он метил в муравьёв, и парочка безнадёжно увязла, остальные суетились вокруг, пока Лёнчик не примял эту «пехоту» пяткой.

– Пойду, – шумно выдохнул. Повевало брагой, как порой пахло от отца, если праздновал с вечера.

Опершись о костыли, Ленчик вынул коробок и пачку «Казбека» – добыл на фронте. Сельские курили махорку и папирос в глаза не видели. Алёна пригляделась, только теперь заметила и дрожь в его пальцах, и что папиросы со спичками все были поломаны. Минуту он пытался совладать с руками, ругался под нос, затем Алёна встала, взяла коробок из мокрых рук Лёнчика и прикурила ему.

Мама вернулась поздно, пряча лицо, сказала, что на почте ошиблись, легла к стене. Будто и не плакала, но от тусклых глаз веяло холодом. Никогда прежде не случалось у них с Алёной такого скупого вечера, чтоб ни поесть вместе, ни поговорить. Наутро мама не встала. Воздух в комнате повис затхлый, пылинки замерли, точно вмёрзли. После уговоров мама согласилась выйти во двор, но лишь спустила ноги с кровати – и повалилась. Уложив её, Алёна кинулась за врачом, за Марфой; Ефим, как назло, пропал в лесах.

Врач – немолодой, жидковолосый, чтимый и в селе, и в деревне, хотел везти маму в город, но сейчас бог знает чего там ждать и как везти. На себе? В дороге хуже станет. А что машины не достать, он понимал лучше Алёны. Обещал захаживать, назначил питьё, покой, велел не унывать.

На кухне уже дожидалась очереди Марфа. Увидев её, врач удручённо вздохнул и вышел. Алёна сразу дала ей молока, и та спрятала его в сумку. Прежде знахарка не бывала в их доме: отец не болел, а себя и Алёну мама сама выхаживала. Приземистая, не старая ещё женщина, Марфа села у маминой постели: шептала, руками водила и снова шептала. Ушла смурная, как врач. Сказала – будет заглядывать, дала чем поить, научила молитве.

Устав от новых людей, мама уснула, и Алёна поспешила на почту. Бежала и плакала; солнце расплзлось сияющей кляксой, облака текли акварелью. В комнатке почты, с порога, по нависшему молчанию Алёна уловила, что её ждали: ошиблись, девочка, и маме твоей так сказали, нет вестей, ни дурных, никаких.

На крыльце она встала плечом к столбику, закусила щеку, чтоб не реветь. Через дорогу по радио из окна сельсовета оглашали новую резолюцию: «Еще теснее сплотим ряды... будем трудиться... больше потребуем от себя и других...» Пацаны скучали без сводок с передовой, самые терпеливые расселись по подоконнику.

Первый раз Алёна побрела в церковь одна. Вера-Надежда-Любовь глянули на неё как на сестру, а их мать Софья – словно на дочку. «Люба – значит любовь», – ожил в памяти мамин шёпот. Подпалив свечу от другой, Алёна осмолела конец, нашла ей место и долго глядела на святые лики. В центре Любовь – самая маленькая, с самым строгим лицом, в нём и правда угадывалось что-то мамино. Справа Надежда – постарше, а крест держит робко, точно боится сломать. Вера – высокая, умудренная, как если б знала, чего не знают сёстры. Смотреть на материнский лик, повисший слабым светилком, Алёна не хотела, но смотрела против воли.

Всю обратную дорогу она вспоминала, как тётя Нина описывала извещение о смерти, пришедшее Тамаре Тамаровне: «Маленька бумажка... за социалистическую родину... проявив героизм... убит, запятая, ранен... похоронен в селе...» От этой бумажки Алёна спасалась последним письмом отца, словно раскрывая его поверх похоронки. Она знала его наизусть, будто вслух отец

зачитывал свои строки – неважно, шла Алёна по лесу, лезла на дерево или засыпала в кровати. Отца можно было остановить, расспросить подробно – он отвечал, если курил – Алёна морщилась и задерживала дыхание.

Больше всего из письма запомнилось, что подтираться немецкими листовками было неудобно: царапались, и вдобавок их запрещало хранить командование. Одежду регулярно прокаливали в печах от клопов и вшей – ими и офицеры мучились. Но офицерам выдавали зубной порошок, у них водились папиросы и шоколад – это последнее было что-то удивительное, со слов отца.

Заканчивая на шоколаде, он гасил в консервной банке самокрутку и с дымом растворялся. Алёна кривилась от табачной вони и, если было вдохновение, отмахивалась рукой. Часто вспоминать письмо не стоило: отец ленился рассказывать, прятался за мутным стеклом, но стоило выждать неделю, и он являлся и был так близко, что, казалось, можно разглядеть его щетину.

12.

Вера была в одного Ефима. Неохотно Алёна вспоминала их последний разговор. Первое время и вовсе боялась, что за отказ идти в ученицы Ефим покарает – не со зла, а так, невольно. Теперь он мог обидеться уже за то, что всё лето она сторонилась его дома и вот явилась с просьбой.

Однако старик вернулся и принял Алёну на удивление радушно, усадил посреди лавки, сам продолжил мыть посуду – множество каких-то горшков. Борода серебрилась от капель. Алёна сбивчиво поведала о маме – беседа, ей казалось, не завяжется. Покивав мрачно, Ефим вытер руки о фартук, позвал в избу. Пока собирал сумку, расспросил подробно, а уходя, велел:

– Закрой форточку, придём откроем.

Это «придём» не понравилось Алёне, но в суете забылось.

Увидев, кого она привела, мама даже привстала, но Ефим жестом уложил её и сел с другого края кровати, о болезни осведомился легко, как о порезанном пальце, после взял мамы щиколотки, подержал молча. Она и уснула. Прежде чем уйти, Ефим обошёл дом, оглядел по-хозяйски. Скрип петель и половых досок, подтёки с крыши, треснувшее стекло – на всё он цокал языком и приговаривал, что «надо подлатать».

– Идём, ко мне, потолкуем, – заявил на дворе.

Алёна хотела и о маме спросить, и отчего нельзя говорить тут, и почему он сумку не открыл, которую так тщательно собирал, но не решилась.

Впервые деревня видела, чтоб Ефим сам вёл к себе. Кто лузгал семечки, кто опирался на тяпку посреди огорода – все покладисто кивали ему, но без улыбок. Глядя в лица односельчан, Алёна подумала, что если б не те встречи со стариком втихую, не было бы и этой явной, а он в благодарность за лечение потребует идти в ученицы.

«Не он ли наслал болезнь? – проползло в мыслях. – Дак мама и хворала давно...»

Пересекая его двор, Алёна через силу отогнала тревоги: ведь в одного Ефима и верила – не в Марфу, не в доктора. Мама – Любовь, а он, значит – Вера. В памяти ожила икона с ликом старшей сестры, и от мысли, что к Ефиму с его тайнами ушла вся вера, стало не по себе.

Прихватив из-под лавки канистру, старик повёл Алёну в дом, к шкафу с чёрным проёмом, за которым темнел тупик: там, против библиотеки, висела резная рама с косматой бурой шкурой внутри, этакая картина. Алёна только и успела подумать, что Ефим пошёл за книгой, как он повернулся к библиотеке спиной, сунул руку в шкуру, и половина рамы отворилась – мех скрыл зазор меж дверьми. Распахнув одну, чтоб свет очертил лестницу, Ефим торопливо спустился. Алёна сходила осторожно, когда нога коснулась пола, старик уже смочил из канистры факел и подпалил.

Внизу было сухо, ни сырости подвальной, ни духа плесени. Спящая печка выпирала из стены жабьей мордой. По углам массивного стола росли факелы, потолок над ними чернел от копоти. Стены ушли под полки – ни у отца, нигде больше Алёна таких инструментов не видела: чудные железные ветки, кручёные серпы, сита в три уровня и гора спиц, какими год назад Ефим открыл мамин замок на погребке. В мутной качке света всё это то пряталось, то выступало наружу.

– Ставь два стула и слушай, – велел Ефим. – Я тут покамест, но скоро опять уйду. Есть одна травка – заварить её, подавать день-другой. Коли не она – я не знаю что. Кустики такие, не боле ведра. Листики острые, как ивовые. Тока волк найдёт, у них нюх дай боже. Хворый волк ту травку ищет.

Живот так и сжался в комок. Невольно Алёна открыла рот:

– За волком бегать?

– Прежде словить, – поправил старик и медленно распрявился, – да ослабить, чтоб еле живой был. И ловить на себя. Но для запаха нужно мясо – мышами не обойдёшься, куру прирежь – волк на неё придёт. За рекой они водятся, где поля и дальний лес. Тока в него не суйся. Сядь на холме, кой покруче. Смекнула где?

Те края Алёна видела лишь с макушки самого высокого дерева в колхозном саду. За оврагами начинался ближний лес, там зеленело море листвы и островами темнели ельники, а вдали лежали голубые складки холмов, о которых и говорил Ефим. В груди словно камень вырос, холодил сердце, а Ефим продолжал как ни в чём не бывало:

– Не тушуйся. С лисой сладила – и волка причешешь, – он постоял в раздумьях, склонился, достал из ящика стола чёрную полированную дудку – длиннее прежней, звучала она холоднее и ниже, особенно последняя третья нота – вкупе все три напоминали вой. Оттуда же достал самострел с дротиком и чем мазать, а после кивнул в угол, на самодельную телегу – решётка, четыре колеса да цепь вместо верёвки.

– Волка не снесёшь, тяжёлый, ирод. К телеге примотай, да крепко – то такой зверь... ни дай бог.

Решётку покрыли застаревшие пятна – давно высохшие, несомненно, от крови, она до сих пор выглядела липкими.

– В сарае спрячь его. Развязывать не вздумай и за пастью следи, завоет – все соседи твои. Собаки учуют – вой подымут, и пусть – люди на мамку твою спишут, они знают приметы. Дней пять треба ослабить его, чтоб душа еле держалась. Ни еды, ни воды! Зверь неделю без воды живёт, без еды – две. Лапу надрежь, заднюю, бо не угонишься, – Ефим изобразил рукой волчью лапу и указал где резать. – До дому свезёшь – сразу режь, чтоб затянулась корочка.

Факел потрескивал, но в тишине казалось, что хрустят и ломаются доски. Алёна соглашалась, кивала, а речь Ефима рисовала дурной сон.

– Как ослабнет, телегу с ним вывезешь в сад, там развязывай, да смотри – покусает, еще тебя лечить. А как травку съест – он же её и съест. Этим спугнёшь, подуй – они не любят свисту. Подарок тебе.

Старик достал из стола свисток на шнурке, повесил Алёне на шею. Невесомый, меньше мизинца, с боков завилась резные листики, совсем как на отцовском гребне – лёг посередь груди, и захотелось сдвинуть его вбок.

Из последнего ящика Ефим извлёк бутыль с тёмно-бурой жижеей. Откупорил, повеяло болотом.

«Кровь», – пробрало Алёну.

– Не кровь, не бойсь, – по испуганным глазам догадался Ефим, поднёс бутыль к факелу, полюбовался – внутри колыхался рубиновый свет. – Хлебнёшь – и для леса тебя не станет. Волк не учует, что по пятам идёшь.

Алёна глотнула, как если бы опрокинула в рот стакан этого яда. С перепугу совсем скрутило живот.

– Сутки прежде ни крошки в рот! – наставлял Ефим. – Как почувствуешь, что поплыло всё – не забудься. Помни, что тебе надо – крепко помни. Оно думки попрячет. Сладко станет, томно – не заиграйся, Алёна. Ты можешь, – и Ефим прибавил мягче: – В змею не ступи. Поранишься, укусит кто, спугнёшься – чары спадут. Береги их.

– Из чего оно? – не стерпела Алёна, напуганная рубиновым светом.

Вместо ответа старик достал баночку, налил в неё из бутылки по палец. В воздухе распустилась терпкая горечь, Алёна потянула носом. Ефим приметил, улыбнулся, и закралось сомнение: неужто не запас он этой волчьей травой? Наверху шкаф до потолка, тут целый стол в ящиках. Такая важная – и негу?

Но Алёна спросила, потупившись:

– Точно эта трава маме поможет?

– Изнутри её буровит, из головы – село у ней там, ест её думка, съела почти. Мы подлечим, только разговорить мамку надо, развязать, чтоб выболтала, чего прячет. То только ты можешь, от тебя она прячет. А мы подлечим – травка поможет, должна. Ежли не она, я не знаю что, – повторил он то, с чего начал, и встал. – Идём. Это я прихвачу, а ты канистру, нельзя её тут держать.

Полная, тяжелая, как ведро воды, канистра воняла керосином, внутри глухо плескалось. Ко-е-как Алёна подняла её по лестнице и несла на двор под лавку. Тут пахло помидорами, грядки жались к частокору жердей, и сами помидоры уродились мясистые, в руку не поместятся.

– У меня той травки нет, я б дал. Старый за волками бегать, – признался Ефим, выходя в тень крыльца. – Телегу я к вашей калитке ночью свезу – заберёшь, чтоб деревенские не прознали.

Алёна провела пальцем по дудке, вспомнила, как замороженные куры падали с насеста.

– Три месяца не казалась, – обронил Ефим, и она отняла руку от дудки, словно он запретил. – Я не в упрёк, Алёна. Я б столько тебе показать мог. Есть у тебя родня – приютят, коли что?

– Брата папиного на фронте убили, маминых тиф забрал.

Старик погладил бороду, но было видно, как под ней ходят желваки, как не может он подобрать слов. Наконец оглядел выбеленную засухой улицу и посулил:

– Я могу поведать много такого, что...

– Я крёщёная! – нагретая страхом, выпалила Алёна.

– ...что ни мамка, никто тут не знает! – твёрже dokonчил старик. – Что в хозяйстве каждый день треба. Много ты таких помидор у кого видела? То не черти, то я растил этими руками.

Он поднял большущие стариковские руки, каждая в две Алёниных. Поглядев на них, на помидоры, она закусила губу: «В ученицы так в ученицы – чего ж делать?»

– Я ежли зол, то недолго, – остыв, заверил старик. – Пальцем не трону, то для меня святое. А коли говорят, что я спятил – ты не верь.

– Хорошо, – не поднимая лица, кивнула Алёна.

– Что?

– Согласна я, – ещё ниже она опустила голову.

– Ой, иди уже, горе луковое!

Старик махнул рукой на брешь в кустах, матюкнулся в бороду и с неохотой натянул фартук.

Уходила Алёна, потяжелев вдвое, набухшая страхами, оглохшая – щебет и ветер в листве казались отдельными, чужими. Настоящей была боль в мыслях, словно там прожигало дырочку. И Ефим эту боль умножил. Он, верно, не понял, что сказал о маминой болезни, о думке, какая угнездилась в ней и травит – но поняла Алёна и шла, будто пьяная, как на чужих ногах.

«Но может, ошиблись, мама, может, ошиблись» – думалось всякий раз, как слёзы подступали к горлу. Огибая колдобины, она смотрела на дорожную пыль и не видела её, не видела колдобин и дороги, и что с каждого двора на Алёну оглядывались, она тоже не знала и не хотела знать.

Вблизи дома на улицу выбежал соседский Витька, потрясая своим чёрным пистолетом, жадно огляделся в поисках развлечений, но только появилась Алёна, как мать погнала его домой, да так грозно, что подчинился сразу. Уже из-за ворот он обернулся, приставил ко лбу кулак с оттопыренными пальцами вроде рогов и зарычал.

– Быки не рычат, дурени! – не стерпела она, а в уме отозвалось: «Может, ошиблись, мама...»

Поднимаясь к себе на двор, Алёна оглядела грядки с последними вялыми помидорами – пахли они, только если поднести к носу. Сорвала парочку, может, мама съест... «Может, ошиблись, мама, может, ошиблись...» Оба помидора уместились в руке, рядом с Ефимовскими они казались двумя крупными виноградинами.

Неужто он – её вера? У той, с иконы, милость в лице, а он как глянет – душа в пятки.
И кто тогда Надежда?

13.

С новой дудкой куриц вышибало куда раньше, а птицы валились с деревьев, как яблоки, если потрясти. Саму Алёну от слишком усердных тренировок мутило до тошноты, час-другой ходила, сдерживая рвоту.

Мама не вставала, ела после уговоров, травки Марфы пила по чайной ложке. Весь дом пропах отваром, молоко до капли уходило знахарке, а мама чахла и убывала – подушка под её головой точно распухла с каждым днём.

Свежим, прохладным утром Алёна уложила нож у плоского камня в углу двора и вошла в курятник с чувством, что входит в детскую спальню. Помимо петуха имелись старая насестка на серых молистых лапах, и белая курочка с тонкой алой гребёнкой. По правде, резать надлежало старую – пожила ведь, но гадкий голос шептал: «Для жертвы бери молоденькую, красивую». Насупившись, Алёна взяла в охапку ту, которая «пожила», и наказала себе замахнуться посильнее да без лишних слёз.

После, заварив травок, провела маму. Та встревожилась:

– Чего глаза на мокром месте? Из-за меня? Хватит, Алёна. Поправлюсь.

Алёна же все еще видела, как кровь брызнула на «эшафот» в углу забора, и на забор, помнила куриные трепыхания в руке. Оставив маме питьё и мякиш хлеба, она тихо ушла. Полегчало в лесу. Ветер тормозил листву, спугивал птиц – отвлекал как мог. Телега катила легко, большие колёса глотали ямы и корни – всё просчитал старый чёрт.

Так далеко Алёна не забиралась. С любимого дерева в саду было видно два крошечных дуба за рекой, на их фоне голубели складки холмов. Путь к дубам лежал через низину у изгиба реки, сплошь в заводях и с ордами комарья. Зной усыпил всё вокруг. Ивы, свесив космы, клонились над рекой, лишь рябь от ветра бродила у берега да петляли голодные стрекозы.

Солнце уже взобралось под купол неба, когда Алёна добралась до дубов. Они стояли друг против друга, одинокие, как на дуэли. С трудом она разглядела свою деревню: крыши белели россыпью за садами. А впереди шумел на ветру незнакомый лес – макушки деревьев качались, будто головы, шелестели, приговаривая: «Ай-ай, чего затеяла».

Уже к вечеру, взбираясь на заветный холм, Алёна спугнула птицу, та выпорхнула из травы и испугала саму Алёну. Столбы сосен накалились докрасна; в вышине, словно дым, растворялась прозрачная хвоя; кочки сияли, как комки пуха. Еле рассмотрев вдалеке два крошечных дуба, Алёна поняла, как далеко ушла от дома, и ладонь сама легла на пояс у рукоятки ножа.

Место нашла близ леса, натащила коряг – хоть какие-то баррикады, и сразу взялась за костёр. На сучок куста Алёна повесила зеркало, зарядила самострел и принялась коптить курицу: та румянилась, шкворчала, упала капля жира и зашипела. Никто не готовил курицу вкуснее, чем мама. В пути Алёна съела припасённые морковку с яйцом, но от ходьбы и тревог голод не унялся. Проглотив слюну, она настроилась ждать: упёрла дудку в подбородок, повернулась к зеркалу; спина и ноги ныли загодя, помня охоту трёхмесячной давности.

Так Алёна провела час. Умаялась больше, чем за день пути, тело затекло от шеи до пяток. Низина уходила в сторону дубов-дуэлянтов и гасла в сумерках. Размышляя, как поступить, если охота не состоится, Алёна заметила в зеркале две ели, темневшие на фоне закатного неба, и изумилась – никаких елей, пока собирала дрова, там не видела. То были волчьи уши. Вслед за ними в лесном сумраке проступили узкая острая морда и высокие лапы. Волк замер, будто нарисованный чёрной краской.

Сперва Алёна подумала о ноже, затем о самостреле, а уж после – о дудке. Других «елей» в зеркале не было, но шорохи надвинулись со всех сторон. Волк лёг, не издав звука, и Алёна восхитилась: «Красивый какой».

Месяц вспорол тучу.

Приложив дудку к губам, Алёна взяла первую ноту, и волк наклонил морду, повернул ухом. Но звук дрогнул, разладился - вторая и третья ноты выгладили его, а первая замкнула петлю, и кольца пошли оплетать зверя. Алёна вперилась в зеркало, ждала, волк лежал, подняв уши. Тогда она заиграла громче, и он сел, а после встал на четыре лапы, переминаясь. Меж лопаток стекла тёплая капля пота, другая зрела у виска. Сбавив громкость, Алёна заиграла мягче – ещё круг, ещё... дудка скользила в мокрых пальцах. Зверь пошатнулся, пошёл навстречу, и Алёна, хоть видела волка впервые, подивилась, как он ступал: лапы еле гибались и неуклюже задевали корни.

Меж тем голос дудки проник в Алёну, от него мутило, никогда прежде она не играла так долго. На тренировках этот гипноз кончался пробуждением под птичий щебет – чем обернётся теперь, и думать не хотелось. И этот звук, и тошнота, и голод крутились в теле винтом.

На крошке леса волк встал, качался, как под ветром, тянул морду, хотел подвыть. «Этого не хватало!» – отчаялась Алёна и поняла, что хочет перестать играть, но пальцы и губы как сговорились против неё. Наконец, взяв длинную вступительную ноту, она поднялась, на слабых ногах добрела до коряг и сквозь муть в глазах различила перед собой волка: не сходя с места, он мотал головой, будто пытаясь выпутаться. И в Алёне три ноты не угасали, вращались колесом, самострел обжигал руки. Прицелившись в упор, она выждала, пока уляжется дрожь, и выстрелила.

Тут тошнота поднялась нестерпимо, Алёну вырвало желчью, в ушах звенело. Когда пришла в себя – зверь лежал на боку. Утерев рот рукавом, Алёна ткнула палкой ему в бок, в шею, в нос – ухом не повёл, только лапы дрожали. Лишь подойдя ближе, она отметила, что поймала не волка, а волчицу – нестарую ещё, сильную. Значит, выдержит. Вспомнился голос, который велел резать молоденькую курицу. «Хорошо не послушалась!» – уверилась Алёна и следом подумала, что поймав волчицу – это добрый знак:

- Мы ж девочки: мама, я, ты, – шептала Алёна, сев на корточки. – Мы пособим друг дружке.
- И вдруг её озарило: волчица и есть Надежда. На неё же, в конце концов, она и надеется.
- Надя, – сорвалось с языка, – Наденька.

По пути назад волчица не очнулась, но так и дёргала лапами – неслась куда-то в беспокойном сне. Весу Наденька набрала с три лисицы, если не больше, туго бы пришлось без телеги. Луна напустила в зелень бледного дыма: куда ни глянь, всюду мерещились волчьи уши, в голове звучал вой перемешку с дудкой. Полегчало у реки, когда Алёна завидела на воде дребезг лунного блика. Все сверчки леса сползли к берегу, сквозь навязчивый душный стрёкот ухала сова. Отдыхавшись, Алёна снова намотала цепь телеги на руку и вспомнила, как зимой отец сажал её в санки и так же возил за собой на верёвке.

Когда вернулась в деревню, уже светало. Телегу закатила в сарай и сразу метнулась к маме. Та спала, в чашке недоставало на пару глотков, мякиш хлеба лежал нетронутый. Алёна склонилась уловить дыхание, ни целовать, ни гладить не стала – побоялась разбудить.

В сарае она плюхнулась у стены и сидела, пока горячее, мокрое тело не перестало гудеть, как улей. А волчица так и спала, лапы так и дрожали.

«Наденька, – умилилась Алёна, и тут же её обдал страх, – может, мертва, а лапы так дрыгают-ся? Тётя Нина божилась, что с покойниками это бывает». Но грудь волчицы ходила вверх-вниз; нагнувшись к морде, Алёна различила дыхание и села назад к стенке.

Предстояло самое скверное: вспоминая руку Ефима и долго прилаживаясь, она надрезала волчью лапу, как он показывал, – самую малость. Наденька вздрогнула, засуетилась, снова обмерла. На землю упали тёмные капли. Алёна отвернулась и быстро начисто вытерла нож.

14.

Утром она проснулась от несмолкаемого воя: собаки голосили с каждого двора, но громче всех заходился Ялик. С появлением Алёны он юркнул в будку и глянул оттуда, вопрошая взглядом: «А тебе не страшно?»

«Ежли Ефим не ушёл – смекнёт», – порадовалась Алёна и пошла к маме. Та не спала, всплеснула руками и повинила дочь:

– Куда пропала вчера? Весь день тебя не было. Я слышу, коли никого в доме.

– В лес ходила по лекарство.

– Врёшь. Марфа всё дала. Всё! – на этом силы спорить иссякли. Поникшая, мама прибавила, глядя в окно: – Собаки воют, Ялик аж заходится. Худой знак.

«...соседи на мамку твою спишут, они знают приметы...» – вспомнились слова Ефима.

– Голодный Ялик, не кормила ещё, – спохватилась Алёна.

– Ты что в лесу забыла? Ефим надоумил? Кощей. Перед людьми совестно, что с ним водимся. Помнишь, как про него толкуют?

Мама сжала руку Алёны, но хило, как ребёнок спросонья, – Алёна сжала в ответ сильнее и решительно соврала:

– То сплетни. Судачат, когда ума нет. За травами он послал, навроде Марфиных. Я заварю.

– Ишь, заговорила, – подивилась мама. – Ялика накорми да Липу – мычала полночи, не давала спать.

Прежде чем уйти, Алёна достала из-под кровати мамин горшок, но в нём третьи сутки было пусто.

– Чего ты там ждёшь? Иди уже.

Ветер трепал виноградник, срывал ещё зелёные листья и нёс по двору. А мечталось, чтоб он унёс разом всех собак. По пути к будке Алёна представила, как, кувыркаясь и визжа, они полетят над крышами. Вместо еды Ялик трижды получил хворостиной, пока не спрятался в будке.

– Тока тьякни! Посмей тока! Ей скормлю! – пообещала Алёна, указав через двор на сарай.

Заварила Марфиных трав, накрыла их полотенцем и поспешила к сараю, шла и корила себя: «Теперь и мама в страхе – псы паскудные, никого спасу от них... сама, опять сама...»

Не дойдя до сарая, Алёна расслышала скрип телеги, сбавила шаг и подошла к окошку чуть не на цыпочках, протёрла, глянула – пленница извивалась на телеге. Лязг засова насторожил волчицу, она дёрнулась поднять голову, но верёвки не дали. Внутри стоял смрад острее собачьего, от кислой вони хотелось зажмуриться.

Набравшись духу, Алёна примостилась против волчицы. Солнце уложило на стену полосу света, пыль плыла через луч, кувыркалась. Жёлтые волчьи глаза смотрели не моргая, пока Алёна вымаливала прощение: «Надя... Надя, послушай...» Но скоро та взялась скулить насколько позволяли верёвки, – не по-собачьи, гневно, низко.

Уходя, Алёна затворила дверь, а волчица всё вертелась, силилась совладать с верёвками – и не заметила, как тюремщица вышла. Гордость от удачной охоты канула, сама охота вспоминалась сплошным обманом Наденьки.

Ефима дома не оказалось, ушёл, избу запер, даже форточку затворил изнутри. Остаток дня прошёл за хозяйством вблизи мамы. Когда в обед та уснула, Алёна вышла полоть огород и сквозь вой собак услышала скрип из сарая – не унималась Наденька. Сходив в дом, Алёна заткнула уши ватой и вернулась к сапке, но скрип так и повис в голове. Когда кончила с огородом, к большой своей радости увидела во дворе тётю Нину. Та села к столу в тени ореха, стянула платок, дала голове остыть.

«Матрёшка, ей-богу, матрёшка» – мелькнуло в мыслях.

– Ты, что ли, подросла? – пригляделась тётя Нина, повязала платок и заметила между делом: – С вами повзрослеешь, да?.. С войной вашей сучьей.

– Молока хотите? – нашлась Алёна, думая отлить от порции Марфы, пока та не пришла.

– Не, с жары этой ничего в рот не лезет.

Соседский пёс прибавил жалобных нот к общему вою, остальные подладились.

– Чтоб вас чёрт забрал, псы паскудные, – бросила тётя Нина. – С утра эта песня. То на жару, Алёна, ты не думай.

Обе покивали.

– Тамара повесилась – и никто не выл, – сказала Алёна, но звучало так, будто спрашивала.

– А то. Кому как написано, бог не спросит. И Тамара не одна – в селе тоже женщина с собой канчила, отравы глотнула кой-то, сожгла себя изнутри. Два сына у ей враз отняло. Война така – грохочет там где-то, а мрут тут.

Петушиный крик отвлёк тётю Нину, ненадолго он перекрыл голоса собак. Что слова её омрачили Алёну, она не видела, продолжила как ни в чём не бывало:

– Ты, Алён, с Ефимом поди сдружилась? Мать он лечить взялся да опосля к себе водил. Сколь-ко живу – того не видела. В сам деле вы знаете?

– Мама заболела, я и пошла к нему. А прежде ко врачу да к Марфе, – щёки Алёны налились жаром.

– То верно, ты молодец. Тока видели, что ты и прежде у него на дворе была, в начале лета, – усомнилась тётя Нина. – Может, врут. С людей станет. Обознались, может. Тока ты думай, прежде чем делать что. Шёпоты эти за твоей спиной – оно тебе надо?

Лицо охватил огонь. Алёна пожалала плечами: не хотела ни врать, ни искать оправданий и только спросила:

– За что его не любят? Никому ж зла не делал.

– Еще не хватало, чтоб зло делал. Когда с людьми не в ладу – уже худо. Пособит ежли – чудо, а то матюкается, на ребят шикает. Ты б хотела подле такого жить? Може, он посулил чего?

Алёна помотала головой, смяла в руках лист ореха.

– Люди копят помаленьку, а случись что – дак всё наружу. Попадёшь вместе с ним под горячую руку, – словно повинилась тётя Нина. – Раньше-то – скот падет, неурожай – знамо ведьму ищут. Дед говорил, икоту одна наслала. Всем селом били, донага раздели – хвост искать. Не нашли. Ну, под калёной кочергой созналась. Ты того хочешь?

– А коли у него помидоры боле наших втрое – тоже худо?

Тётя Нина вздохнула, смела крошки со стола.

– Я у мамки твоей была, она поллучше. Ты лечи её, что Марфа велит, делай, что Ефим сказал, делай, всё делай. Наладится мамка. Чем надо пособим, не молчи тока.

Опершись о стол, она встала, отряхнула халат.

– Уходите уже? – изумилась Алёна.

– Пойду.

– Так не будете молока?

– Не, дочка. Ты помяни, что я сказала. Баба Нина старая, но сказать может, боле нет с неё проку. Всё, не провожай, – и она поковыляла к калитке.

Часом позже навестил врач, повторил, что надо бы в город – вот если бы машину... И Марфа побыла у маминной постели и ушла, избегая встречи с Алёной. В сумерки, покормив Липу, она сама наведалась к маме – уговорила съесть хлебный мякиш, напоила отваром, да та подавилась – и половину разлили мимо.

– Навроде легче от твоих травок, – согласилась мама. Круги под её глазами как будто светле-ли. – У врача ботинки в пыли, с утра по жаре ходит. И ему молока дай. Придёт, всё распросит. Марфа – та сама говорит, лучше меня про мои кишки знает. А Ефима сторонись. Слышишь? Хри-стом богом молю.

Откинув полу одеяла, мама провела рукой по влажной груди, обернулась к окну и потянула носом:

– Вечером свежо пахнет, вкусно. Завтра выведем меня на двор – умаялась лежать.

Соседская собака завывала громче остальных, уже звенела цепь Ялика, но, помня утреннюю хворостину, он вяло потявкал и залез в будку. Мама зашептала хмуро:

– Худой знак. Откуда у них силы глотки рвать?.. Иди, Алёна, глаза слипаются, – последнее по-тонуло в зевке. Мама уложила руку на её плечо и так уснула. Вскоре её пальцы стали подрагивать.

Алёна нанесла Липе сена, долго гладила тощий коровий бок и приговаривала: «Ничего-ничего, наладится. Помаленьку, потихонечку». «А ну как нет?» – мычала в ответ Липа, и приходилось объяснять ей: «Дак и в тебе душа еле держится – одни рёбра, а живёшь, глупая».

По пути в дом Алёна прошла у будки, заглянула к Ялику, чтоб не поднимать шума:
– Убью – пасть откроешь, – и уходя пояснила: – Кормить перестану.

15.

На второе утро Алёна сразу поспешила к Наденьке: ночь выдалась душная, немая, разбудил страх, что Ефим ошибся и суток волчица не протянет. Но встретило Алёну то же спёртое рычание да скрип железа. Пока проветривала сарай, оглядела деревню: дома будто отвернулись и выставили вздохмаченные затылки, заря красила трубы.

В сарае Алёна не стерпела – стала поить Наденьку из ковша, метя струёй в щёлку пасти. Хотелось погладить её, почесать за ухом, но точно не было на то согласия ни волчицы, ни божьего. Напившись сколько дали, та зарычала пуще прежнего. Порез на лапе стянула корка – Алёна тронула её, и волчица заметалась, ещё туже стягивая узлы. Стены сарая розовели, через открытую дверь виднелось пугало с соседского огорода.

По пути во двор захотелось оглянуться: за сараем темнели кроны сада, а дальше, совсем чёрная, лежала полоса леса. Собаки уже распевались. Ялику Алёна пригрозила на день вперёд, но так пропахла волчьим духом в сарае, что бедняга понюхал её ноги и шарханул в сторону. Алёна переоделась, согрела молока и поспешила к маме.

– Чем пахнуло? – сморщилась та. – Поди псиной.

– Дак я от Ялика, – завершила Алёна, опешив: «Быть не может – всё ж чистое надела».

Но мама уже забыла о том и шурилась на окно.

– Опять пекло, царица небесная. Никакого спасу от того солнца.

С самого утра и правда ни облачка не было, ни ветерка – двор застыл, как картина, только воробьи порхали под виноградником.

– Мы в тенёчке сядем, в уголок? – взмолилась Алёна, но мама не ответила, поднялась на локтях и спросила не своим голосом:

– Ты куда собралась?

– Я?! – Алёна отшатнулась, но, привыкшая врать, перебрала в мыслях: «Может, в сам деле надо куда?»

– Липа мычала без тебя, – снова переменялась мама и рассеянно взглянула на руки. – Снилось что-то... как в тумане. И думать ничего не могу, – вдруг её взял испуг, опять поднялась с подушки. – Ты ж не к Ефиму? То добром не кончится.

Алёна затаила дух, пристально посмотрела на маму, но та на глазах стала прежней, и голос её остыл:

– Псы воют, не уймутся. Может, правда на жару.

– Конечно, душно как. К дождю, – поддержала Алёна, не понимая, каким словам верить.

– Мне в тех соснах волчьи уши чудятся, – мама повернулась к окну. – Как вой подыметесь – стоят, слушают.

За садом, на взгорье, росли две высоченные сосны, острые к макушкам.

– Дак выйдем на двор? – настояла Алёна. – Я топчан застелю, ляжешь в тенёчке.

– Не тяни душу. Я скажу, как захочу. Иди хлопочи, засохнет всё – зимой околеем с голоду.

И она перевалилась на бок – сорочка липла к худой спине, все кости проступили. Алёна сходила за свежей, а как раздела маму – охнула да скорее отвела глаза, твердя в уме: «Чего худого сделали, боженька?.. Ведь ничего! Дурак ты старый!»

В горшке желтело на доньшке. Прихватив его, Алёна побрела на двор.

К обеду явились односельчанки; разгорячённые полевой работой, утолили жажду и двинулись в дом. Алёна обмолвилась о волчьих ушах, что мерещились маме вместо сосен, и прочла

в бабьих лицах скорбь. Но её взялись успокаивать, вспомнили дюжину безопасных примет и о собачьем вое, и о волках. Со слов односельчанок, мама и выглядела лучше, хоть нос её нехорошо заострился. Они причитали на зной в поле, на сроки сборов и больные спины, хоть в чём-то желая казаться не такими здоровыми и румяными. Тётя Нина стояла поодаль, кивала да отводила лицо. Соседка по участку Зоя Филипповна, старенькая, сморщенная, как сухофрукт, поддакивала остальным и тоже пяtilась, чтоб не поймать мамин взгляд.

– ...лежи-лежи, свой угол лечит... солнце лютое... к дождю... – слышала мама, но все слова летели мимо, ни одно не смягчило её лица. И уходя последней, Алёна заметила, как мама обернулась к окну и подивилась шёпотом: – Ухи. Ей-богу, ухи.

На улице женщины снова черпали из ведра и жадно пили, так что Алёне самой захотелось; другие, не стесняясь её, судачили:

– В селе? Где сельсовет?! Чем отравилась-то? Уксусной?! Мать честная... – женщины крестились и охали. – Уж лучше, как Тамара, ей-богу. Это ж как болеть должно внутри...

Алёна отступила на шаг, встала боком, чтоб не подумали, что слушает.

– Лёнчик-то попивает. Помню, бегал малой, худболист наш, пиской тряс. Кутнул вчера, домой с одним костылём явился. Он теперь с мужиками кто остался – а кто там остался... – тень махнула рукой.

– Даша сказала, он ногу чувствует, кой нет, – чешется меж пальцев. Врач был у него, она отвела врача, сказала, что Лёнчик не спит толком, забыл половину, руки ходуном ходят – закурить не может. А как ночь – находит на него: неудобно всё, форма давит, сапоги жмут, а он в трусах на кровати. В полку его половине в голову напекло. Под осадой сидели, немцы лупили по ним с миномёта – так до истерик у солдатиков делалось, пока обстрела ждали.

– Что за бесы в мужиках сидят?.. Батюшки святы... Алёна, поди. Чего Ефим за маму сказал?

Напоследок ей обещали скорый дождь – тогда псы и уймутся – и дружно заверили, что помогут собрать картошку. Хвалили Марфу, велели верить ей, молиться, как учит, соседей звать, если что – не стесняться.

Ушли. Бойкие, плечистые. Алёна гадала, о чём они шепчутся за забором – тихо, с оглядками. Да лучше не знать, лучше б не приходили они. Отводя от себя эти мысли, точно ветки в густом лесу, она вернулась к маме.

С полудня стояло пекло, деревня кипела в мареве. Кто не спрятался в доме, расселись по лавкам в тени деревьев. Алёна управлялась с делами к самому зною, осмотрелась на улице и не смогла вспомнить, когда в последний раз видела её такой пустой.

Тут на одну из лавок вышла внучка Зои Филипповны – Мила, редкая девочка, с кем удавалось найти общие темы, если оставались вдвоём. Завидев Алёну, та поспешила навстречу. Однако к забору спустилась Зоя Филипповна, наружу не вышла, лишь тень её с поднятым кулаком легла на калитку, и Мила понуро вернулась во двор.

Вечер Алёна провела в саду, бродила от дерева к дереву и остужала тревогу, сжимая отцовский гребень до тупой боли – шрам от сломанного зубца белел с края ладони пятнышком. Мама хранила свой гребень в шкатулке и ругала Алёну, чтоб та тоже сняла да спрятала – упаси боже потерять.

Устав ходить, Алёна разулась, вырвала пальцами ног клочок травы. Вдали пропела кукушка: раз-два и смолкла.

– Я тебя ни о чём не просила, – крикнула Алёна в сторону леса и повернулась к нему спиной.

Во дворе она загодя шикнула на Ялика, не удержалась и снова побрела к сараю. Телега под Наденькой стонала, будто это телегу наказали, привязав к дикому зверю. Алёна прибрала за волчицей, обтёрла решётку и с час проветривала сарай – вонь стояла нестерпимая. Весь этот час Наденька била хвостом о землю, ворчала. Рана на лапе подсохла и не кровила. Лишь волчьи рёбра виднелись всё явнее, так же, как маминь, что утром проступили, когда Алёна меняла ей сорочку.

Переодевшись, Алёна прощадла остаток трав и отправилась к маме, да так и не добудилась. Тепло весь день сочилось в дом и к вечеру осело в каждой комнате, но мама укуталась, натянула одеяло по уши, пальцы выступали из-под него совсем маленькие.

Напоследок Алёна заглянула к Липе, посетовала на односельчанок и услышала в ленивом мычании, что ни им нельзя верить, ни их тревогам. А если соседка гонит от Алёны внучку – то со страху: коли ума нет, вместо него селится страх, подрастёт Мила, будет умнее своей бабки – будут дружить.

В своей комнате Алёна села на кровать, достала баночку с Ефимовым настоем – тот был почти чёрный, как вино, лишь поднеся его к свече, можно было увидеть рубиновый перелив.

16.

Третьим утром мама повернулась к Алёне, но глаз не разомкнула, точно веки слиплись. Сквозняк распахнул ставни, занавеска взлетела под потолок, и Алёна вскочила с кровати, чтобы скорее затворить окно. Мама наморщилась, подтянула к груди руку.

– Ты глаза не открываешь, – садясь назад, промолвила Алёна.

– Устала. Ветер там?

Пришлось целиком затворить окно и задвинуть щеколду.

– Там славно, жары нет пока. Выйдем, посидим маленько? Ты спала?

– Снилось что-то.

Ветер трепал виноградник, редкие синие грозди темнели в листве.

– По сю пору не верится, что ты в сам деле ту лису словила. Алёна-Алёна... Мне б твоё нетерпение – уже бы в городе жили. И Марфа сказала – следи за дочкой, шибко смышляная.

– Так и сказала? – наострилась Алёна.

Но мама помолчала и заговорила уже другим, упавшим голосом:

– Помнишь, орехи чистили, а ты боялась рук не отмыть?

– Конечно, чёрные такие. Дак ты откроешь глаза?

– Иди-иди, потом.

Алёна выдвинула ногой горшок: беленький, чистенький, тот удручал своей пустотой больше, чем мамина бледность.

С ковшем воды отправилась к сараю, минуту глядела в окошко: волчий хвост беспокойно вилил. Распахнув дверь, Алёна отшатнулась – дышать внутри было нечем. Подождала и села у телеги. Надо поить волчицу, хоть глоточек – помрёт, и тогда всё зря. Опять шёпотом, глотая слова, Алёна вымалывала прощение. Наденька напилась и зарычала всем телом. Хуже этого сарая, этих стен в голубой извести, наверное, и не было для неё места. Алёна выйти не успела, как раздался знакомый скрип. Небо глядело на неё с укором, на ум лезло и лезло, что она давит из Наденьки силы, и, прикованная к кровати, так же томится мама.

Заварив травок и полив грядки, Алёна дала крюк через сад, решила проведать Ефима, мало ли – воротился, но его изба стояла запертой. За это огорчение и за всех деревенских псов, что голосили без устали, расплатился Ялик с его истошным лаем. А из сарая не смолкал скрип, остатки волчьих сил уходили на проклятые верёвки.

У мамы уже сидела Марфа: наговаривала, поила. Алёна заглянула к ним:

– Мне пособить чем?

– Иди хлопочи, – отозвалась знахарка.

Но часом позже она вышла от мамы и осталась на пороге кухни. Сначала высматривала Алёну, а как заметила, села во дворе за стол. Давно ждавшая беседы, Алёна поспешила к столу и вперёд слов выставила молоко.

– Справляешься, дочка? Псы развылись, чтоб им пусто было, – посетовала Марфа, пряча банку.

– Зла на них нет. Чего лают?

– Ты о дурном не думай. Столько народу без всяких собак померло.

В загоне закудахтал петух; дождавшись, когда умолкнет, Алёна спросила:

– Пошто мама болеет?

– Надо, значит. Все болеем, я тоже.

– Может, ей сказали, что отца убили, а она мне...

– Ты гадай меньше, – перебила знахарка и откинулась на спинку стула. – Повоюет, вернётся, то его дело мужицкое. Так справляешься с домом? – Марфа опёрлась локтем о стол и подалась ближе. – Старый захаживал? Тож мамку доглядует? Лису он пособил словить? Не тушуйся, никому не кажу, – она подмигнула.

– А вы боитесь его?

– Есть чуток.

– За что?

– Его спроси. Вы ж знаете?

Алёна потухла, но не смолчала:

– В лес вы тоже ходите?

– Хожу. Сыщу своё и до дому, а чего он там по месяцу бродит, я не ведаю.

– И нема у вас травки, кой волки лечатся?

– Он посулил такую? – Марфа сощурилась. – Тех травок столько. А зверь земли, бывало, лизнёт и поправится. Ох, Алёна, хлебнёшь ты с ним горя.

– С волком?

Знахарка не ответила, махнула рукой, согнала со стола муху. Взыл соседский пёс, Ялик выскочил из будки, но, завидев Алёну, поник и юркнул обратно.

– А в бога вы верите? – решила она.

– Шли бы ко мне люди, коли не верила.

Повеяло дымом. Кто-то в эту жару топил печь – уму непостижимо. «Запах огня» – как Алёна звала и аромат костра, и смрад пожара – дурманил её.

– Может, я к вам заходить буду? – обратилась она и вдруг поняла, как сильно хочет этого.

У Марфы и внуков не было, а сына с мужем прибрал фронт. Не дожидаясь ответа, Алёна бойко заверила: – Я отвлекать не буду, я только...

– Не, дочка. Ты ежли с Ефимом, так уж с ним, – отклонила знахарка и прибавила на тон ниже: – Никто тебя тут не примет, пошла молва – не воротишь.

Ветер сорвал листья с ореха, прокатил по двору. Алёна не стала допытываться о той молве, и только спросила:

– Что с мамой будет?

– Тяжела. Точит её. Села в ней заноза, в голову, в думки. Оно опосля на тело кинулось, уж мы лечим что болит, а сперва думка была, её наружу надо – она мать стравила.

Алёна закусила губу. Приметив это, Марфа увела взгляд, точно проговорилась, даже села вполборота, но потом заставила себя обернуться к Алёне, а та уж не хотела ничего спрашивать и только прибавила для полноты:

– Я в церковь ходила.

– Молись. Дай бог, услышит, – Марфа встала, кряхтя. – Взрослеть тебе раньше времени... война проклята. Жили же как-то. Не надо боле молока. Мать пои, молись, не забывай.

Алёна проводила Марфу до калитки, нарвала у забора мяты и вернулась за стол, как если бы они так и сидели со знахаркой – словно та согласилась на просьбу Алёны и осталась потолковать.

Снова час ушёл на огород. Когда вернулась на двор, соседка уже накрыла стол, утром приехал на побывку то ли сын, то ли брат её – вчера шептались односельчанки, но Алёна не расслышала, а в лицо родню соседей толком не знала. Витька носился по двору со своим пистолетом, верещал радостно и грозно – он уже победил немцев. Запахло супом – слабенько, но хотелось вдыхать, будто повеяло мирным временем.

Отобедав, солдатик закурил – полетел дух махорки, и Алёна поспешила от него в дом, но лишь порог переступила и замерла: как будто смех поселился меж стен, прозрачный, сыпучий, обжилсь по углам. Алёна шагнула, снова встала и поняла – он из маминой комнаты.

– ...тож деда того корзина была... он яйца о край скамьи бил, а внучка чистила, – взмокшая, мама сидела на кровати, уже порывалась встать, но, увидев Алёну, с жаром продолжила: – А корзина на отца упала, щёку окорябала... кровила потом щека...

Снова она подалась встать, и Алёна удивилась, откуда столько сил. Глаза мамыны – навывкате, точно рыбки – смеялись, смотрели сквозь стены, сквозь этот день.

– ...кровь вытер и сказал, что утром наша станция. Без десяти пять.

– Какая станция? Бог с тобой.

– ...и повозку надо успеть взять, бо народу пропасть... а по щеке кровь...

– Какая повозка? Какая кровь? – Алёна налилась жаром.

– ...и до тебя прижался, от головки твоей вдохнул. А я ему – поди прочь от неё, табачиной-то как несёт.

И так это рассмешило маму, глаза заблестели, а Алёна – сидит, не поймёт, бежать за соседями или рано? Окно стояло распахнутым, стёкла кинули на кровать блик, качались на ветру, и вместе с ними качалась кровать, будто люлька.

– ...пусти её, говорю!

– Кого? – глотая слёзы, выдавила Алёна.

– Тебя, дурёха... куревом до костей пропах – как теперь. Чуешь?

И точно: тут, как и на дворе, пахло самокруткой соседского солдатика, от чего Алёна сбежала в дом – только сразу о том забыла.

– Я как унюхала табачину – аж до мурашек, – и мама подалась сесть, но закашлялась, повадилась на подушку. – Всё до тютельки вспомнила, как мы в поезде сюда ехали. Отец с тамбура вернулся, прокуренный, осоловел аж, корзина свалилась, щёку ему окорябала... обнял тебя, да ты отсела, корку хлебную у меня выпросила, мусолила её у окна.

Алёна разом вспомнила ту поездку: деда, корзину его, запёкшуюся кровь на отцовской щеке, и станция их была под утро, сошло полпоезда, а повозок стояло всего три. Но было еще что-то яркое и страшное, никак не получалось выудить на поверхность.

– А после изба у путей горела, – лицо мамы озарилось, будто подсвеченное тем забытым пожарищем. – Народ вокруг кольцами, девочка, как ты, без конца крестилась, в платке в белом. Крыша осыпалась, искры вверх...

За окном что-то хлопнуло, с соседских грядок вспорхнули воробьи. А мама ничего не заметила. Такой восторг на её лице был однажды, когда в новогоднюю ночь отец принёс бенгальских огней. Сама Алёна вспоминала вагон поезда, летящие сквозь него закатные тени да беседу с мамой о смерти бабушки: и та, прежде чем отойти, расцвела напоследок, сутки вспоминала то одно, то другое, смотрела будто кино, не могла нарадоваться... каждая мелочь ей вернулась, каждый чих.

– ...всё до тютельки помню, – лопотала мама. – И девочка та в платке крестилась... а ты корку мусолила... а отец шепнул, что дурная примета, коли дом горит... шетиной оцарапал... тут...

Она тронула шею, а Алёна гладила, гладила маму, пока та не ушла в дрёму, комкая во рту вязкие, примятые сном слова: то яичная скорлупа вспоминалась под ногами деда, то вонь пожарища, то суета на станции и ругань за повозку.

Собаки на полуденном пекле утихли все, кроме соседского Полкана: скулил, метался, насколько пускала цепь. Выйдя из дома, Алёна сразу заметила его. Донеслись причитания вперемешку со слезами: соседка вышла на крыльцо, плюхнулась у порога, обхватила голову, плечи мелко тряслись. Солдатик смолил окурок и матерился с красным, как стакан вина, лицом.

На улице к их воротам уже набежали. Там Алёна узнала, что во время обеда не уследили за Витькой: нашел солдатский пистолет да отстрелил себе палец. Пуля пробила зеркало и застряла в стене. Ждали врача, да было ясно – расти Витьке без пальца.

– Ладно и так, бо мог в лоб зарядить, – слышалось украдкой. – Сколько еще тех пулек буде.

Алёна послунялась вдоль чужого забора, послушала старух и не нашла в себе жалости ещё и на Витьку, сбежала в сад. Мысли её ходили от одной печали к другой, как сама она от дерева к дереву. Всё мама вспомнила. Всё, кроме своего же рассказа о кончине бабушки – будто кто уберёт маму. Ведь бабушка любовалась кладовыми памяти ровно сутки, а стало быть, завтра к обеду всё кончиться. Солнце висело в зените.

На обратном пути Алёна быстрым шагом миновала сарай. Скрип не унимался, и она со злости стукнула в дверь сарая кулаком.

Три часа кряду мыла комнату за комнатой, чтоб дышалось легче, но жара затопила дом, сколько ни воевала с ней – свежее не стало. Лишь к вечеру сумерки остудили землю, и духота спала, как падает вскинутый ветром тюль. Алёна отправилась к маме с травками для неё и яйцом для себя. Весь день кусок в горло не лез – в животе ныло, а о еде и думать было тошно.

Мама не спала, в глазах блеснуло и погасло, но уже без огня. Алёна пригляделась, как обычно смотрели на неё, подозревая в чём-то, – и от сердца отлегло. Села, взялась поить и приврала для начала:

– Порозовела ты. Может, поешь?

– Вы утром с Марфой говорили, я слышала. Ты бы с ней дружилась – не с Ефимом, с бесом тем.

– Лучше с ней, – вторила Алёна и покосилась на сосны. Уж ей самой в них виделись волчьи уши. – И псы унялись. Лаются глупые, когда скучно.

Несмотря мама перевалилась на бок, хотела откашляться, но раздумала и продолжила сонно:

– Ну, точно уши – слушают, не уймутся... Стыдно кому сказать... Ведь он замок нам справил, кощей как есть, а рукастый, умище... Как Бог делит, кому что?.. Один пугало огородное, за иным бегают, не допросятся.

Алёна кивнула, но вместо Ефима помнился отец в том же вагоне поезда, в кепке, нога на ногу. Она вынула из волос гребень, сжала в руке и так оставила.

– Спрячь, Алёна. Спрячь в шкатулку. Потеряешь, локти будешь кусать.

За год гребень обтёрся, потемнел – представилось, как отец начищал его шкуркой, сдувал опилки с рук...

– ...и кулак у него мягкий... большие такие пальцы... по одному отгибала...

Уже в тоне мамы Алёна услышала перемену, а как взглянула – сердце упало: точно ребёнок, та подтянула одеяло к лицу, лицо лоснилось от пота, опять глаза навывкате, опять они наполнились смехом.

– ...с вишенку было... на мизинец... из гвоздя отец его сделал... обстучал, начистил до блеска... каждую царапину вижу, царица небесная – ей-богу, каждую... – мама вертела в пальцах невидимое кольцо. – В тот день его не было, а у меня именины. Как ждала, обиделась... Вечером явился, кулак как жет, большой, мягкий – внутри, мол... по пальцу отгибала... как любила то колечко...

На улице завыла собака, соседские подхватили, понесли от дома к дому. Алёна затворила окно, да зря: ничего мама не слышала, укрылась в своё видение – то подкатывало всё ближе, а она тянула к лицу одеяло:

– ...каждую царапину, каждую... посереде ладони...

– Красивое, – надломилась Алёна.

– ...и не зимой уже, в марте, но снег лежал, мы в снежки играли... а тепло, все без варежек, неудобно в варежках... глянь на руку – нет его... руки мокрые, слетело... не хватило ума сберечь... – мама натянула одеяло поверх носа, одни глаза остались. – Обыскалась. Снег сошёл – всё излазила... скормила его земле...

Тихонько, обманом Алёна спустила одеяло, убрала с маминого лба взмокшие пряди и встала, чтобы распахнуть окно, а как вернулась, та опять спряталась чуть не с головой. Руки, совсем худые, смотрелись точно детские.

– ...никто не сказал, что беречь надо... думала, раз кольцо – носить буду...

– Другое бы сладил, – не выдержала Алёна.

К сумеркам орех за окном потемнел, дома в тени крыш меркли. Загомосил петух, и ветер понёс его крик к саду.

Алёна поставила чашку с отваром на стол, глянула на несъеденное яйцо, и её передёрнуло. Подув себе под ворот, она выгнала остатки жара, легла вдоль мамы бочком – та и не поняла, забылась, дышала чуть слышно. Пока лежала, Алёна зареклась: ни капли больше Наденьке. Прав был Ефим – заигралась, дурёха, дождалась. Нет у мамы ни дня, некуда тянуть, утром же волчицу выпускать надо, пусть и резвая – этой же ночью, только поспать до зари, скопить сил.

Гребень Алёна выложила в шкатулку рядом с маминим – оба легли братьями.

У сарая, прежде чем отпереть, Алёна встала к окошку: пленница ворчала, молилась своему волчьему богу. Открыв дверь, Алёна пустила воздуха, и Наденька смолкла, молиться при чело- веке не пожелала, принялась за свои упражнения: жалостней всего скрипели колёса под задними лапами – не пришлось бы их Ефиму чинить.

– Уймись ты! Уймись, ишь горячая! – вспыхнула Алёна и пошла прочь.

Одна Липа была добра. Но тёплое тело её дрожало, корова замычала испуганно и попятилась – даже она учуяла Наденьку. Выплакав печали, Алёна вернулась в дом, собрала на столе нож, свисток Ефима, баночку с настоем – снова допоздна любовалась им. Сон не шёл, лишь глубокой ночью её сморило, ворочалась, спорила с кем-то смутным, кто по очереди становился то отцом, то Ефимом, то председателем сельсовета.

17.

Под утро снилась мама: металась по постели от дурного сна, как волчица на решётке, но Алёна добудилась её, допросилась открыть глаза, и они по-волчьи сверкнули жёлтым, а вместо слов мама завывала во весь голос.

Этот вой и разбудил Алёну. Небо накаляла заря, ещё пахло ночью. Холодная, долгая нота перекрыла собачий хор, голос Ялика на её фоне звучал, как капризный плач.

Алёна кинулась к сараю, застыла у окна. Телега опустела, под ней поблёскивал моток цепи. У края, где были привязаны задние лапы волчицы, решётка разошлась. Наденька расшатала её, выломала прутья и стянула верёвку, державшую лапы, а после разодрала другие верёвки и ту, что была на пасти. Благо собаки голосили – заглушали волчий вой, пока деревня спала. Увидев в окне свою надзирательницу, волчица расставила лапы и завывала, глядя в упор.

Невольно Алёна коснулась рукой стекла, протёрла, хоть и так всё видела, зажала руками уши, а Наденька не унималась и повышала ноту. Когда опомнилась, Алёна поспешила к дому, заткнула нож за пояс, надела свисток – тот лёг на грудь рядом с крестиком. Настой Ефима мерцал на про- свет, баночка держала тепло, будто внутри остывал чай. Прихватив её, Алёна поблагодарила Бога, что так и не съела ничего за минувшие сутки.

Но перед комнатой мамы она оробела, оперлась о стену, перекрестилась. Вошла. В бреду мама мотала головой по подушке и с каждой волной воя морщилась, как от зубной боли; волосы спутались, липли ко лбу, сорочка вымокла. Алёна зажмурилась, пообещала себе, что справится, будить не стала и юркнула в коридор, но из-за двери вырвалось:

– Куда, Алёна? Поди ко мне.

– Я вернусь! – откликнулась, только в коридоре её снова как подкосило. Всё лето промелькнуло перед глазами, и лишь теперь пришло на ум, что, может, и не было веры Ефиму в тот пер- вый раз, как встретились в лесу. Тогда казалось, она что хочет, то и делает, а старик помогает, но каким-то чудным подлым образом Алёна слушалась его во всём. Сейчас же, меж этих низких штукатуренных стен, где тонул мамин стон, вдруг подумалось, что никогда она старику не верила и не верит, только прежде боялась о том помыслить, а теперь куда откладывать?..

– Может, остаться? – Алёна замерла. – Бог знает, когда вернуться... последний день, может.

Вспомнился утренний сон: жёлтые волчьи глаза на мамином лице и как она металась по постели, будто не могла выпутаться... и вот мама завывала... Собаки подпели ей неумело, и Алёна понеслась к сараю, прочь от этой муки, от низкого потолка и штукатуреных стен.

Прятаться на огороде было негде, Алёна приоткрыла дверь сарая, отскочила. Чуть погода в щёлку протиснулась волчья морда. Не издав звука, хромая и выкрашивая землю кровью, Наденька кинулась к саду – корка на лапе, видно, сразу и треснула; знал Ефим, где резать. Настой Алёна проглотила залпом, рот наполнила вязкая горечь, в животе потеплело. У калитки волчица оскалилась – пришлось отстать, жар из живота растекался по телу, спина горела, хотелось лечь прямо тут, оставить волчицу в покое. Кое-как Наденька одолела забор и поспешила под тень груш.

За садом стелилось сонное поле. Алёна на бегу обернулась – деревенские дома стояли, как разбросанные игрушки. В памяти всплыли провода отца, телега, гружённая вещами, мама на ней... скрип почтового ящика... Забжав на пригорок, волчица передохнула у кромки леса, язык свесился из раскрытой пасти – дышалось Наденьке тяжело. Алёна встала поодаль, и её настигла волна дурмана, будто неслась следом; тянуло лечь в траву, поваляться кошкой, а ещё сильнее тянуло в лес, такой близкий, еще не разбуженный птицами.

Окинув взглядом дома-игрушки, Алёна прошептала, сбиваясь от частого дыхания:

– Бог играет в игрушки... а небом отгородился... и смотрит из-за него.

Волчий хвост уже мелькал в чаще, и она кинулась вдогонку. Стоило проскочить меж двух первых деревьев, и зелень осветилась, словно в небе повисли два солнца. Кроны дышали, живые, тонко, нежно вдыхали берёзы, сосны посвистывали, гулко сопели дубы и клёны. Миг назад с пригорка Алёна увидела замшелый валун, а теперь знала, что под ним гадюка глотает мышь; ночью мышь таскала в нору съестное – ей было хорошо, теперь хорошо гадюке.

Наденька виделась зыбко, уже не оглядывалась на Алёну, не чуяла. Алёна и сама еле помнила, кто она да зачем бежит сломя голову: тело несло над землёй, словно клубы пара. Уже нельзя было ткнуть пальцем в грудь и сказать «тут сердце», – всё смешалось, сердце билось везде, и на кончике пальца тоже. Лишь вид хромающей Наденьки отравлял радость, волчья кровь оросила траву чёрными кляксами, те светились – никогда Алёна не видела, чтобы чёрное светилось.

Весь лес она одолела на одном дыхании, а сил только прибавилось. Алёна остановилась, коснулась дерева, пальцы промяли его, утопая в коре: дерево откликнулось тугой дрожью, листья зазвенели на ветках – ему было щекотно. Когда же Алёна опомнилась, волчицы и след простыл. Лес навис со всех сторон, точно на глазах вырос, чаща сияла, а Алёна вмерзала в неё, будто в лёд – забыла, как дышать.

Тишина.

Вдруг сбоку, в глубине, где высились карандаши сосен, вспорхнула птица и другая. Алёна сорвалась с места, а когда нагнала волчицу, чаша кончилась, в низине лежала река. Камыш смеялся на ветру, вода искрилась. В тени ивы вода чернела, кувшинки парили, точно в пустоте, со дна лезли пузырьки, будто там грелся большущий кипятильник. Летом в деревню свезли утопленника цвета рыбьего брюха – весь разбух, и караси общипали. Тогда, увидев его, Алёна не спала две ночи, теперь ей показалось смешным, что он вот так соединился с водой.

А Наденька спешила к взгорью, где росли два дуба. Над ними желтел восход – Алёна залюбовалась и со всех ног понеслась прямоком к дубам. Луч прожёл листу, засиял, запел трубой, и Алёна укорила себя, что сомневалась в Ефиме: как обещал ей – так и есть, а она слабая, потому нет веры.

К полудню солнце поднялось злое, белое – его стало слишком много.

Наконец Алёна вбежала на холм, где охотилась. Всё тут было неприятно знакомо. Перепрыгнув горку золы, она оглянулась на крошечные дубы и ощутила, как утомилась, точно усталость давно ждала, чтоб заявить о себе, но молчала. А Наденька так и семенила хромая, оставляя по траве пунктир крови. Еле-еле Алёна нагнала её, на лицо липла паутина, вязкий воздух сгустился и уже не летел сквозь неё, как прежде.

Скоро показался пригорок с низким развесистым клёном. Туда и несло волчицу: взбежала и скрылась под деревом. Глотая воздух, Алёна взобралась следом, достала свисток, но глянула с пригорка и обмерла. От пролежины вглубь спустилась нора. Наденька сунулась к норе: из неё полезли волчата на толстых лапах, вывалили скопом, облепили, тычась кто куда.

«Дурак ты старый... – колючим жаром обдало Алёну, и вспомнилась лысина старика с налипшим бликом. – Старый ты дурак! Чтоб те ноги отсохли... Нет той травки! Нема и не было, леший проклятый!»

В сердцах Алёна рванула свисток с шеи, швырнула, не глядя, а секундой позже поняла, что со свистком сорвала и крестик – на груди было пусто. Закрыв глаза, она сползла по пригорку, выдохнула остаток сил. На щенячий писк отозвался знакомый низкий ропот, какой звучал в сарае, только этот был тёплым и давался Наденьке без натуги.

18.

Теперь солнце жгло в спину.

Чары убывали, листва ленилась мерцать и висела слепой завесой. Комья облаков, мошкара, стрекот – всё опротивело, и мечталось Алёне об одном: спалить эту чашу да реку с прибрежным ветром и рябью по воде, да с этим небом в придачу, где он прячется, отгородившись облаком – и первой поджечь бороду его мягкую седую.

– Доигрался ты, боженька... Ни капельки тебе не жалко... – в голос укоряла Алёна.

Икона вспомнилась, постояла перед глазами – три сестры и мать смотрели сквозь подступающие слёзы; всегда казалось, что вот-вот заплачут.

Выбившись из сил, Алёна споткнулась о корень, лежала – не могла надышаться, сердце колотилось в горле. Лес склонился, макушки шептались меж собой: «Молоденькую надо было резать – поди и волк бы иной попался... зря поила, зря – вон сколько сил в ней было...»

Сев под дерево, Алёна отлепила рубашку от груди и подула внутрь, ноги гудели, во рту пересохло. Вдруг позади раздался холодный протяжный вой – ниже, чем вой Наденьки. Любимый её вернулся, и она откликнулась ему своей нотой. Алёна дослушала их до конца, и вдруг подумалось, что Наденька, если осталась в ней злоба к маленькому человеку, без труда отыщет дорогу к сараю.

«Нехристь... кощей... – угольком жгло душу, сальный блик белел на лысине Ефима. – Зачем говорил, когда всё впустую?.. Знал ты, знал, чё так будет. Всё у тебя наперёд известно...»

На поляне она обогнула пятно костра и глянула в небо: перевалило за полдень – сутки минули с тех пор, как маму одолели воспоминания. И Алёна гадала: что припомнилось маме, пока сама она в упоении мчалась через лес? Из детства, верно, с самого доньшшка. Но к этим думкам липли другие – скверные, отмеряя злосчастные сутки, где уже не было маминых воспоминаний, и её не было.

Часом позже по горизонту легли тучи, налетел ветер, и заплутал в листве. Дым облаков успокоил солнце, но духота катила приливами, и Алёна тонула в ней – больше шла, чем бежала.

На исходе дня она миновала два дуба, теперь они походили на мужа с женой, стояли потревоженные. Внизу тусклым зеркалом загибалась река. Спустившись к берегу, Алёна отвела кувшинку и зачерпнула полные ладони, умыла лицо. Солнце ослабло, уже не слепило – и она смотрела на него, вспоминая, как прошлым вечером в этот же час наведалась к маме, узнала о кольце из гвоздя.

«Скормила земле...» – долетело из вчерашнего дня.

Гроза прошла стороной, погромела и боком уползла за далекие бледные холмы. Алёна и смотреть туда не хотела.

Лес принял под родной свод, точно домой с улицы. Спустились сумерки; птицы подняли недолгий крик и утихли. Опять Алёна шла, сил бежать не осталось, даже мысли ворочались туго. И всегда вслед за мамой вспоминался Ефим – бормотал что-то, тёр колени... извинялся, искал слова, но ни прощенья не было, ни веры, что он ошибся. А стоило вспомнить как этим утром, выйдя от мамы, Алёна отмела последнее сомнение в нём – каких-то полдня назад, рукой дотянуться – и такая брала обида...

«Ирод старый... не буду терпеть... прости, боженька», – кипело в душе.

Миновав поляну, где два дулла смотрели друг в друга из двух сосен, Алёна подумала, что было бы, встретить она Ефима сейчас: ведь тоже по лесам бродит, неделю как ушёл, мало по его меркам – столько же, если не больше, ему ходить, – и только в сентябре, с последними тёплыми днями он покажется в деревне. А злость на ту пору уляжется, уймётся, простится ему... Против воли Алёна увидела, как сейчас в такой же сонной чаше он сидит на бревне, жуёт свой вечерний кусочек хлеба, лапой своей большущей бороду чешет, куцую свою бородёнку в крошках...

Под закат солнце нашло в завесе туч брешь, полыхнуло с горизонта, последний блик согрел деревенские крыши.

Чем Алёна ни утешала себя, как ни отговаривала – ноги несли к дому Ефима. Высокая лохматая кукуруза скрыла её от чужих глаз, как и в начале лета – когда первый раз Алёна была у старика в гостях. Ночь зажгла кое-где окна, петухи отпели, не унимались сверчки, и удивительным показало, что не хватало собачьего воя.

Взмозшая, шатаясь, как спьяну, Алёна ступила на двор Ефима и оперлась о жердь, притихла, хоть некого было бояться. Хотела отдышаться и не могла; огляделась, но всё вокруг вязло, будто в киселе, и терялось. Утерев лоб рукавом, Алёна сжала кулачки и лишний раз подумала: «Гуляй по лесам, гуляй... там и сиди, чтоб тебя мошка заела! Ненавижу!»

Лавка глядела на Алёну старой собакой, умывальник обронил каплю. Как и прежде, коробок лежал на канистре: её хватило два раза обойти дом, керосин выкрасил стены тёмными мазками, пах нестерпимо до тошноты. Замкнув второе кольцо, Алёна вернула канистру под лавку и поняла, что если подождёт хоть минуту – одумается.

Чиркнула, отошла. Ноги окатило быстрым жаром.

Не было в деревне дождя, обошёл стороной, земля от недельной засухи крошилась и шла трещинами. По стенам пламя ползло с гулом, роптало, а Алёна думала, будет шелестеть да потрескивать. Цепляясь за углы, огонь лез на крышу, пенился, искры брызгали в стороны. Пройдя ряды кукурузы до середины, Алёна обернулась и в волнах огня углядела лавку, канистру и даже открытую форточку – та виляла, точно махала рукой. Канистра рванула, но неслышно в шуме огня, скамейка подлетела и сгнула. Поодаль, в сполохах света, к грядкам помидоров жался умывальник.

Сад Алёна пересекла неспешно; завидев свою калитку, села под грушей, и подумалось, что до утра можно остаться тут, лишь бы никто не видел. От платья пахло керосином, желтоватое пятно темнело выше колен. Дым плыл над кронами... наверное, бегают с вёдрами, клянут старика. А в мамينو комнате, поди, ждут... столпились, платочки комкают... тётя Нина, Марфа, Зоя Филипповна – меньше всего хотелось к ним.

На ногу заполз муравей, карабкался по волоскам, как по бурелому. Алёна смотрела на него, правила травинкой и никуда не шла.

19.

Беленький, точно из воска, с пожелтевшими губами, но с такой же рыжей бородкой, Ефим лежал в гробу лицом вверх – Алёна настояла. А когда её словам не хватало веса, включалась мама: глядя на неё, ещё бледную, с впалыми глазами, односельчане отступали, стеснялись спорить. Спасибо и Марфе: кивнула на просьбу Алёны во время совета – ничего не сказала, но кивок видели и закли.

Сама Марфа бросала на маму такие пристальные, полные детского изумления взгляды, что делалось неудобно. Вдобавок мама выпалась без ознобов и сходила наконец в туалет – как вернулась Алёна о всём расспросила без стеснений и довольная, приплясывая, накрыла на стол. За завтраком мама съела больше, чем за минувшую неделю, и выпила кружку смородины – румянец на её лице не скрылся от Марфы. На похороны знахарка пришла позже всех, стояла в стороне, мало интересуясь покойником. Алёна поклялась бы, что Марфа мечтает подступить к маме, пощупать её, расспросить, как старик лечил – больше некому, хоть в деревне о последнем визите Ефима никто не ведал, и мама с Алёной о том молчали. Обе они, не сговариваясь, хранили тайну.

Со слов мамы, он явился утром, сразу, как Алёна выбежала, заверив: «Мама, я вернусь!» Прошло несколько минут, и на дворе послышались шаги, калитка не скрипнула – стало быть, шли с сада. Ялик поднял лай и тотчас подавился им, даже цепь не дребезжала. Скрипнули половые доски, потёк воздух, и прежде чем войти в комнату, старик подал голос из-за двери:

– Хозяйка, а хозяйка. То я, Ефим.

Вошёл несмело, как кошка в собачью будку, мама только услышала его – и повалилась на подушку. Старик не поверил, что разминулся с Алёной, в окно выглянул, окликнул даже, но в голове у мамы всё путалось и менялось местами. Позже, окрепнув, она заметила сапоги Ефима – налипшая земля высохла добела. Накидку его усеял репейник, нос обгорел, шея облезла – от старика разило потом, он был голоден и частенько отлучался на кухню.

Ярче прочего мама помнила, как он уложил руки ей на лицо и давил пальцами, вминая поглубже. Затем голову покачивал легонько, точно правил картину, чтоб висела ровно; а после запустил руки в волосы и мял, так, этак, всей ладонью – и в маму просачивалась томительная щекотка; мама ворочалась, изнывала, не могла вынести.

– Терпи, терпи, Люба, – твердил Ефим. – Сегодня велено терпеть. Ишь вертит.

И она опускала плечи, забывалась, а как приходила в себя, снова его сухие холодные пальцы топтались по её лицу, снова мурашки и щекотка – колючая, во всём теле до пяток.

К полудню немой тёмный вал откатил от мамы и больше не звал в сон; далёкой тёмной каймой он охватил горизонт души, где и лежал всегда, не тревожа. Отступила безносая, и, глядя ей вслед, мама рассмеялась короткими сухими всплесками, будто не смеялась, а плакала.

Ожившую, отмытую от смерти, Ефим стал поить её, приговаривая, что отвар новый – тот, о каком он говорил Алёне, чтоб слова его она в точности передала дочке. Мама глотала противный чай, и травы были те самые, что она пила трое суток – наизусть эту горечь выучила. Всю кухню Алёна излазила, нашла и чайник заварной, и комок жмыха в мусорном ведре – ни зёрнышка нового – те самые Марфины травы.

Вечером, когда мама уже изнемогала лежать, Ефим в сотый раз подошёл к окну и с досадой отметил, что Алёны не видно. Очень ему хотелось встретить её в этой комнате, не дождался, ушёл к себе – видно было, что с ног валится, хоть утром явился свежий, по-обычному крепкий. С полудня, как старик закончил мять мамину голову, силы оставили его. Изнурённый, он просидел у стены до вечера.

Но прежде чем уйти, Ефим просил передать Алёне, чтоб зашла к нему... и сразу передумал – сам обещал явиться утром. Всегда благодарная за помощь, мама с трудом находила слова в ответ на его старания – только и ждала, чтоб ушёл, и с тем же неудобством он принимал её благодарность. Когда вышел, уже смеркалось. Калитка и в этот раз не скрипнула, сколько мама ни слушала.

20.

Сегодняшний календарный лист Алёна уложила к первому со времён переезда – тот, старый, от третьего марта прошлого года, обтрепался уже в поезде, а новенький она отгладила до хруста. Тройка с единицей смотрелись над «августом» исполинами. Хранились листики в шкапулке с гребнями и отцовскими письмами с фронта. Поверх неё стояла фотокарточка из районного центра, все трое на ней – отец с мамой и Алёна – стояли обнявшись. Почему она сохранила этот календарный лист, а не тот, что три дня назад вернул маму к жизни, – Алёна не знала, но, проснувшись утром, ровненько отрезала его и приобщила к семейным драгоценностям.

Похороны Ефима справили быстро, людей под пасмурным небом собралось немного, слов нашлось и того меньше. Мужички сторонились гроба, рассмотрев покойника – отходили, женщины пугались воскового лика старика, но возвращались и глядели снова. Каждой хотелось сказать о нём больше, чем было к месту, и всюду царил шёпот. Тётя Нина пустила слезу, прибрала рукавом, тоже пошла шептаться.

Витьку взяли с собой, слонялся, не зная, куда приткнуться; забинтованная рука его как будто не тревожила, но всё, что приходилось делать левой вместо правой, получалось с трудом и плохо.

Одним из первых он бросил землю на гроб и не попал. Каждый кинул горсть, глухие удары отмерили число скорбящих, и могилу закопали, не дожидаясь грозы.

Потушить дом не смогли, так быстро он занялся да со всех сторон разом – лишь остов уцелел. Обычно огонь не заглатывал избу целиком, соседи успевали спохватиться, и потому с начала похорон Алёна слушала, как женщины шушукались о поджоге. Ефима вытащили – да отошёл уже, задохнулся во сне и, верно, не знал, что кругом полыхает, лежал, отвернувшись к стенке.

Кладбище стояло на взгорье. Пока спускались в деревню, и шутки звучали, и смех. Кто помянул Ефима красненьким, шагали румяные и говорили в голос. Лёнчик на полпути упал, покатился кубарем, дружок поднял его, вернул в строй, другой подобрал костыль и плёлся следом – все трое поминали Ефима с вечера.

– Ты знаешь, как миномёт садит?.. Ты не знаешь... Он дай боже бьёт... Стены, люди – всё в труху... – передал ветер; голос Лёнчика осип, еле узнавался.

Тише всех держалась незнакомая пожилая женщина, непривычно высокая, в сером пальто. Она единственная хранила траурный вид, но обливалась потом и шла нараспашку – иного наряда, видно, не было. Звали её Светлана Самуиловна, месяц назад эвакуировали из Ленинграда, все пожитки уместились в двух чемоданах. По решению сельсовета да с общего согласия деревенских её поселили у Тамары Тамаровны и прикрепили к школе, поскольку в Ленинграде она преподавала математику. Мама подступила к ней, познакомилась: слова Светланы Самуиловны ложились одно к другому, как друг в друга входят шестерёнки часов – Алёна и не знала, что можно говорить так долго, так слитно и взвешенно.

Светлана Самуиловна была одной из тех, кто подтвердил: немец близко и скоро покажется в деревнях. Старухи горевали, многие рыли второй погреб на дне первого – свежая земля застелила огороды, день и ночь её носили вёдрами. Мужчины, стоило заговорить о немце, бросали редкие слова, точно камни, и скорее искали дела, чтобы занять себя.

При входе в деревню Лёнчик опять обронил костыль, пацаны подхватили и стали с хохотом расстреливать из него всю троицу. Он с друзьями принял круговую оборону – за недолгую перепалку отгремела вся матерщина, какая была в ходу.

Пока брели по улице, маму выспрашивали о здоровье, дивились на неё, вернувшуюся с того света. Самые смелые, те, что в начала лета требовали прирезать лису, визнавали, не навещал ли в последние дни Ефим, но мама своё исцеление целиком объясняла заслугой Марфы. Принимая лавры, знахарка розовела и обтирала платком лоб, так и шла последней, отстав от всех. Мало-помалу женщины расходились, скоро и Зоя Филипповна покинула шествие, пожелала маме здоровья и сказала Алёне, точно дала конфету:

– Ты заходи с Милой играть, заходи. Она ждёт тебя.

Как сейчас Алёна видела её тень с поднятым кулаком и Милу, понуро идущую к калитке.

Дом уже показался за поворотом, но мама невольно остановилась у двора Тамары Тамаровны – казалось, все, кто не пошёл на похороны, столпились тут. Сквозь спины Алёна не сразу углядела солдата на скамейке: смуглого, опухшего от слёз, с толстыми детскими губами. Папироса в его руке истлела, пальцы просмолились до желтизны, окуркам вокруг числа не было. Маме шепнули, а она поведала Алёне, что на побывку на целую неделю вернулся сын Тамары Тамаровны, по ошибке причисленный к убитым. Спугали в штабе графу, не там легла роспись, а на солдатике и царяпины нет. «В рубашке воюет», – звучало тихо.

Не смея приблизиться, у забора остановилась Светлана Самуиловна, пальто несла в руке, запыхалась. Ей тоже рассказали, коротко, на ухо. Став у забора, она смотрела вверх голов на низкое небо, не могла надышаться и не знала куда глаза прятать. Солдатик глянул на неё и отвернулся, как обжётся, – кинул окуроч, ударил по нему сапогом.

Когда добрались до своей лавки, уже накрапывало, но хотелось обождать с дороги, посидеть и после идти в дом. С приходом дождя улица опустела. Мама сняла платок, распустила волосы, чтоб голова дышала. Отыскав сливу, счистила с неё смолу и долго нюхала, прежде чем откусить.

– Алён, он когда высматривал тебя в окне, говорил, огород у нас бедный. Иначе, сказал, сажать надо и полоть не так, всё мимо... без ума, без чуйки. Обещал, заживём вместе – научит.

Другая слива, неприметная в листве, выглянула – Алёна сорвала её и сразу откусила половину.

– Петли, сказал, устали, крыша худая, замки на ладан дышат, а пол жук точит. Всё перелаживать надо, да всё пособит, инструмент есть.

Кинув косточку в консервную банку, Алёна поглядела вдоль улицы назад, где прежде голубела изба Ефима, но дождь линовал всё кругом штриховкой, ничего было не разобрать.

– Время, сказал, не то, чтоб порознь жить. Война, война – раз сто про войну вспомнил. Чего, мол, по одному мыкаться. А мне все слова его поперёк... не могу, киваю, бо как не кивать, а сама через силу слушаю. Теперь думаю: может, прав он был?

Мама глядела на Алёну, ждала, чем отзовутся слова, но та встала на цыпочки и выискивала новую сливу, а не сыскав, промолвила в шелесте капель:

– Бедненький.

– Да. Вижу, ты горюешь, – ухмыльнулась мама.

– Че ж нет?

– А то, что платье твоё в керосине было, как воротилась.

Дождь припустил, но тёплый, капли лупили по листьям, сбивая пыль, гроза обещала отмыть перед осенью все деревья. Ничего не ответив, Алёна примостилась с края лавки, усталилась на дрожашую лужу.

– Дочка-дочка, откуда ты такая ума не приложу.

Накатил первый гром, окутал, лёг невидимый, отвлѣк маму.

– Орехи сымать надо, ветки под ими ломаются. Картошку собирать, сено, акацию. Не сегодня-завтра сойдѣт тепло – лето кончилось, считай, зима настала.

Алёна закивала в охоту.

– И завтра в школу. Чудо, что осталась школа, в иных сѣлах позакрывали, одни мы такие – ломоносовы. Четыре класса отходишь и хватит. Я как ты была – в поле работала. Теперь жалеют детей. Да, это «теперь» – кончилось, – мама уронила руки.

Дождь спустил вдоль улицы тюль, ветер качал его: то сомнѣт, то расправит; казалось, где-то окно распахнуто – затворить его, и беды улягутся. Лужа расплзлась грязным морем, листва сверкала, как стеклянная, с веток капало.

– Давай, мама, в город уедем?

– Давай, – усмехнулась та. – Давай всё бросим, самое время.

– Там новое заведѣм.

– Да, нас ждут там.

– Да уж тут никто не ждѣт! – вспыхнула Алёна. – Не вернѣтся отец! Ты за то и слегла, что молчала, упрятала в себя, а оно ест внутри. И теперь молчишь, думаешь, отстало, насовсем, думаешь, – а нет! Ефим сказал, что легло у тебя вглубь, в думки твои, и сосѣт. И Марфа так сказала. Оба на том стояли. Вынуть его надо. Слышишь?!

Крик у Алёны не вышел, слѣзы размыли его ещѣ в горле, она била кулаком о лавку и захлѣбывалась:

– Смолчишь – оно вернѣтся. Говори! Сейчас говори! Ефима уж нет, никто тебя не подымет. А я всё знаю, сняла гребень, лежит с твоим рядом, ты ж видела.

Громыкнуло, рокот прокатился по небу, согнал с придорожных кустов воробья, и тот поспешил под крышу. Когда дождь пошѣл в полную силу, капли сочились сквозь крону сливы, и уж было не разобрать, где они, а где мамины слѣзы, но Алёна уткнулась в её щѣку и изредка ловила их солѣный вкус у себя во рту. «Может, ошиблись, Алёна, может, ошиблись», – твердила мама, будто оправдываясь, но всё тише, пока шѣпот не канул в шуме дождя.